

Дмитрий Фурманов

Мятеж



Дмитрий Фурманов

Мятеж

«Public Domain»

1924

Фурманов Д. А.

Мятеж / Д. А. Фурманов — «Public Domain», 1924

«...Что остановит бешеную лаву? Где сила, что осмелится перегородить ей путь? Нет этих сил, все пожрет разъяренная стихия, слепым ураганом промчится она по благодатным, цветущим полям, по каменным городам, по богатым, плодами набухшим селам, где звонки игры и сыты табуны, все зальет смертоносными огненными волнами, и вмиг повсюду, где билась жизнь, станет тихо. Жизнь похоронена на дне, а над нею – дальше несутся с ревом все новые, новые бешеные валы и пожирают огненными накатами настигнутую добычу. Никто не уgomонит ее чужой, – только сама уgomонится буря: когда все пожрано, смыто, убито и выжжено, когда устала грудь великана-вулкана, истощила всю свою богатырскую силу и, ослабленная, сжалась в изможденный комок. В грозной обстановке грянул мятеж...»

© Фурманов Д. А., 1924

© Public Domain, 1924

Содержание

I. По Семиреченскому тракту	5
II. В Верном	41
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Дмитрий Андреевич Фурманов

Мятеж

І. По Семиреченскому тракту

Девятьсот двадцатый год. Март. По Ташкенту, по аллеям – золото ранней сухой восточной весны. В теплом воздухе – сонная, ленивая тишина. Многоцветные пряные сарты¹ по уютным лавчонкам смачно пожевывают сочный кишмиш. Редким гостем проскочит из-за угла кожаная тужурка, проскользнет парусиновый зеленый портфель, зафыркает в отдаленье автомобиль, – это мчится кто-то на заседание ревсовета. Все туда – к огромному каменному дому, где кипит тревогой жизнь, где до зари и за зарей прыгают лихорадочно бессонные пальцы по растянутым на стенах полотнищам карт, униженным многоцветными клумбами звездочек, головастых булавок, пернатых флажков.

Глухая, забаяканная, ленивая тишь. По улицам в мертвом городе мертвый покой. А в каменном доме – за широкими столами, у карт стенных, у столиков, где стрекочут неугомонные морзе, в глухой шифровалке – таинственные имена: Иргаш, Мадамин, Хал-Хаджа, Курширмат...

От разбойников нет покоя многострадальной Фергане. И в другом краю, на далеком Семиреченском фронте, где под Копалом сдалась белая армия, – грозные, ядерные остатки битой армии с Анненковым, со Щербаковым скачут в Китай... Им надо отрезать путь, нагнать, уничтожить, убить последнюю возможность возврата тяжелой боевой страды. Не замирающая ни на миг, тревожная забота мечется по холодным высоким комнатам ревсовета, и нет здесь доступа золотым лучам туркестанского солнца. И люди здесь иные, – не те, что в сонной дремоте бродят тенями с аллеи на аллею: перехвачены ремнями тугие корпуса, оттянуты револьверами кожаные куртки, строги суровые желтые лица, кратки и четки холодные речи. И встретив на воле – долгим изумленным взглядом провожают их цветные халаты, лениво пережевывая пряный кишмиш.

Мы сегодня целый день, как волчки, вкруг ревсовета. Мы завтра ранним утром покидаем Ташкент. Уезжаем в Семиречье, в Верный. На заманчивую неведомую работу. Неизменный Василь Василич прихлопывает нам оранжевой печатью семимильные мандаты. Я на свой улыбнулся не раз: тут целая программа в сто параграфов, устав, весь мой символ веры. «Если, – подумал я, – все выполнять, что сказано в этом мандате, – сроку надо никак не меньше двести годов. Это вот так мандатец: с таким и в воде не утонешь, в огне не сгоришь». Гляжу – и сам Василь Василич улыбается. Но не место здесь шутить. Он молчалив и серьезен: должность такая. Он посмеется потом, а теперь лишь смачно и крепко прихлопнет именитую бумагу, подожмет плотно губы под черные усики и крякнет, словно после рюмки в трескучий мороз.

Это в ревсовете. А против – угол на угол – политуправление фронта. И здесь суета неумемная. Шутка ли: уезжает в глухую даль – кто знает, на сколько времени, на какие дела и тревоги и опасности – целая артель ответственных работников. Тут мы все, в политуправлении, жили тесной дружеской семьей. Многих спаяли и давние боевые связи: кому помнились погони за махновскими бандами, кому уфимские бои с Колчаком, уральские ли вольные степи, донские ли просторы, а с ними – Деникин, Краснов, Каледин, Покровский. У каждого – свое. У многих – общее. И у всех – одно.

¹ Так, неправильно, называли до революции местное коренное население Ташкента и некоторых других городов Средней Азии. Фурманов употребляет это название, так как оно было еще в ходу в годы утверждения Советской власти в Туркестане. (Прим. ред.)

Семья спаялась – любо работать. Вчера ввечеру собрались мы последний раз и до глубокой ночи сидели вместе: это была прощальная дружеская беседа. Вспоминали разнос – кому что в памяти, кому что дорого. Но было одно, что пронизывало звонкий, веселый шум:

– Ах, и жалко же, ребята, расставаться!

Привычка – дело не малое. А привычка в работе, да еще к таким ребятам – уж и вовсе дело большое.

Мы раскалывались пополам: одна половина здесь, другая – далеко-далеко, почти на тысячу верст за горы, в Верный. Были мы все в эту ночь то безудержно веселы, шумны, то серьезны вдруг, торжественно-молчаливы – со стороны, верно, немного смешны. Не было ложного пафоса – душевная, волнующая искренность, нужные простые слова. Речи, речи, речи... Выступали до единого. А было нас человек тридцать... Ах, какая это была удивительная, незабываемо-памятная ночь!

Вот Палин, черный, как ворон, с трубкой в зубах, проводит рукой по кудрявой, косматой гриве, заканчивает свое очередное слово:

– Что бы ни было, товарищи, а эти последние месяцы останутся лучшими в моей жизни...

– Они станут еще лучше, Палин, если сделаешься большевиком, – вернул кто-то с другого конца стола.

– Ну, это оставь, не тронь – теперь не время...

– Большевиком сделаться всегда время...

И сидевшие за столом громко рассмеялись.

Женоподобный, безусый Гарфункель, тоже меньшевик, поспешил на подмогу своему приятелю:

– Это, товарищи, верно... Сейчас нельзя. И не надо сейчас, – вопрос требует, чтобы над ним глубоко подумать...

Сказал – и пунцовые девичьи щеки залило краской смущенья.

– Бросьте, ребята, сами очухаются, – молвил кто-то примиренным тоном.

Эти слова были пророческими: оба липовых меньшевика уже вскоре были в наших рядах. Не слова, не увещанья, а живая практическая работа, в которой варились они изо дня в день, убедила их отказаться от фальши меньшевистской и взяться за серьезную, настоящую работу – по-настоящему, по-большевистски.

Вот девочка Лидочка, восемнадцатилетний несмышлениш, кристально чистая и наивная, как дитя. Она наша общая любимица. Лидочка в те дни еще ничего-ничего не понимала: только улыбалась и торопилась скорей согласиться с тем, кого слушала, – боялась обидеть своим несогласием. Она в ту прощальную ночь ничего-ничего еще путем не знала – про революцию, про большевиков, она разумом была, как птенчик: робка, невинна и чуть-чуть даже смешна. А потом... Потом вместе с нами и она прошла трудный путь, вынесла и выдержала испытания тех дней, когда смерть стучала по нашим вискам, – Лидочка в эти дни была в грозе и буре восстания вместе с нами... Она теперь тоже большевичка. Она заведует областным женотделом...

Так-то бывает в жизни: от девичьих грез – на широкую дорогу классовых битв!

Был Капельницкий – двадцать лет в большевиках. Эмигрант. Умница. Через год в Москву приехал на съезд. И он, которого не убили ни ссылки, ни тюрьмы, ни жандармские побои, – он погиб от глупой, случайно сорвавшейся пули.

И знаете, кто еще был: Павлуша Войтек. В петербургских районах знают рабочие и помнят до сих пор Павлушу Войтека. Это был на редкость искренний, прямой, благородный человек. Мы на него всегда смотрели как на лучшего из лучших. Он был всегда для нас образцом того настоящего, подлинного борца-коммунара, в котором удивительным образом сочетались и мудрость жизни, уяснение сложнейших, мучительно трудных проблем, и голубиная чистота, детская невинность – тихая, незлобивая... Вы от беседы с Павлушей неизменно уносили аро-

мат его искренности, этой непоколебимой, крепкой его веры во все, что говорил он с такой задушевностью. Кажется, и не сказал он вам ничего серьезного и большого, кажется, и слов у него не было нужных, а вот поди же ты: как поговоришь – словно и умней себя чувствуешь, и бодрей, уверенней, и дело делается у тебя веселее, и мысли стали отчетливо свежими, будто окропил их Павлуша живительной влагой. Он обладал редким даром: разрубать узлы, делать простым и понятным все то, что на первый взгляд темно, запутанно и недоступно. Павлуши Войтека теперь уже нет: он с первыми цепями шел в атаку на мятежный Кронштадт, и хищная пуля насмерть крепко поцеловала его горячим свинцом. Такие – так погибают. Они в ударный момент всегда на вышке, на открытом, опасном посту. Их видно кругом, со всех сторон. А пули – миллионами. И одна – непременно в сердце. И снимет с боевого поста такого Павлушу Войтека.

В ту последнюю ночь он был вместе с нами, смеялся, пожимал торопливо нам руки, говорил, как всегда, задушевные, возбужденно-радостные речи. Не помню я слов тех речей – да и зачем они. Он говорил о том, что в каждом месте – своя нужда, своя работа. Будет нам большая работа и в Верном.

– Поезжайте, ребята, будьте и там молодцами. В такой глуши свежая сила нужней, чем здесь.

Это было давно. Теперь уж Павлуши нет. Мир твоему праху, друг. Мы о тебе, Павлуша, не забудем никогда: слишком был ты чистый и благородный человек, отважный и простой – как надо – коммунист.

Может, и еще теперь нет кого – не знаю. Пошел четвертый год. А мы привыкли время считать минутами.

Прошла та ночь. Наутро как ни в чем не бывало мы встретились в политуправлении. Даже усиленно торопились: мы уехать, а они – нас проводить. И взаимную нашу торопливость каждый видел, понимал и даже чуть-чуть стыдился ее.

«Уж скорей бы ехать, что ли...»

Эта мысль была у каждого. И потому особенно быстро заготавливали документы (их готовили и здесь), снабжались наскоро продуктами, упаковывали разные «деловые» сумки, ящики, корзинки... Писали последние письма, – да и как же было их не писать: чтобы добраться к Верному, надо ведь проползти целых шестьсот с лишком верст на лошадях, горами и равнинами: ишь в какую дыру законопатимся.

Мы о Верном были наслышаны немало. Прежде всего, конечно, один другому с таинственным, значительным видом сообщал, что несколько лет назад – и совсем даже недавно, не то в 1911, не то в 1912 – было в Верном последнее землетрясение...

– Да... и здоровенное!

Скажешь и всматриваешься зорко в лицо собеседника, наблюдаешь, как поразит его это известие. Эка новость, словно и он не знает того же! Но чуть-чуть поинтриговать ребячески нам всегда была тогда охота.

Вот, дескать, в какое чертово пекло едем – то ли не герои!

Впрочем, эту «новость» за последние дни мы успели друг другу сообщить уже по нескольку раз, и потому она чем дальше, тем меньше оказывала действия. Затем мы еще наслышались об ужасающей распутице: старожилы пророчили нам гибель в пути от горных бурных рек, от обвалов и провалов, уверяли, что мосты снесены водой.

А нам и любо: предстоящая поездка кажется теперь – после всех этих слухов и сообщений – каким-то диковинным, почти фантастическим событием. Скорей же, скорей в дорогу!

И – как всегда бывает в таких случаях – ввали нам, грешным, почем зря, кому что вздумается, кому сколько влезет, благо мы жадно слушали, развесив уши, всему верили и за все сведения сердечно благодарили.

Наконец, вот он – момент: все выслушано, упаковано, подписано, расцеловано, – прощай, Ташкент!

Лошаденки с бубенцами покатили на вокзал, чего тут рассказывать: сели и поехали.

От Ташкента до Верного что-то верст восемьсот. По железной дороге можно было тогда ехать только до станции Бурной, а дальше – верст шестьсот – на перекладных, на тройках. Медленно, скучно тянулся поезд, часто останавливался по неведомым для нас причинам, подолгу стоял и, наконец, где-то застрял по-настоящему: впереди оказались снежные заносы. Вот вам и солнечная туркестанская весна! Впрочем, мы не горевали ни о каких дорожных неудачах, – нас чрезвычайно занимало это далекое таинственное Семиречье, о котором так много слышали еще в Ташкенте. В дырявом холодном купе вагона, усевшись кружком – кто на лавке, кто на полу, – мы горячо обсуждали методы предстоящей политической и иной работы. Совершенно новая среда, неведомые доселе условия, отсутствие городского пролетариата, незнание киргизского языка – все это были такие обстоятельства, над которыми можно было поломать голову, подумать, поговорить. И мы усердно говорили, без умолку, многоречиво, неуверенно и крайне возбужденно, особенно возбужденно потому именно, что путем и толком никто не знал: спорить и оспаривать был полный простор. Что же еще оставалось нам делать за долгий-долгий путь? И в то же время хотелось всю нашу поездку обставить таким образом, чтобы от нее получился действительный толк. Во-первых, надо точно определить, что собою представляют эти «подступы» к Семиречью – первые районы, что на нашем пути, во-вторых, поучиться здесь на деле, близ живой работы, – поучиться тому новому, ради чего мы едем в такую даль, и, в-третьих, помочь им уже теперь, этим попутным селам и городам, ежели только будем в состоянии чем-либо быть полезными. А как же не быть полезными? Они ведь тут один раз в месяц получают газету, они несносно отстают от жизни, мало что знают и уже во всяком случае путают все самым беззастенчивым образом. Тут, за горами, темп жизни совсем иной. Какому-нибудь москвичу или иванововознесенцу даже диковинным, непонятным будет: как это люди могут, дескать, терпеть целый месяц, а то и больше, и не знать того, что совершается на белом свете? А вот терпят. Обстоятельства такие, ничего пока не поделать. Мы это знали заранее, что глушь, тьма и неведение здесь кругом умопомрачающие. Потому мы и решили отдать по пути все, что могли отдать, – наш организационный навык, наши общие знания, нашу осведомленность о последних свежих событиях.

В Семиречье командировался, собственно говоря, я один: в качестве уполномоченного по области от реввоенсовета фронта. Иные уверяли меня, что еду даже в качестве «особо уполномоченного», а то говорили, будто в чине «чрезвычайно уполномоченного», но я, по совести признаться, в семимильный мандат свой не заглядывал, а рассудил, что на месте по делу ясно будет, что можно будет делать и чего нельзя. Но уж такая у всех у нас ухватка была в те годы: командируют тебя, а глядь – одному-то ехать и тошно, непременно надо ухватить с собой целую охапку лучших товарищей. С ними сработался, к ним привык, да и они тебя узнали близко. Закинул и я в Ташкенте удочку реввоенсовету:

– Так и так, дескать, еду в глухое Семиречье, с кем там буду дело делать, на кого опереться первое время? Отпустите дюжину политдрузей!

И удивительное дело: ревсовет охотно согласился. На редкость невиданное и диковинное дело. Вот почему и ехать было так радостно даже в эту глухую трущобу. Чего скрывать – уж воистину дыра. Ребята со мною ехали, что называется, «на все руки» – спецы по всем отраслям: тут были и мастера-организаторы и военные инструктора, агитаторы-пропагандисты, лекторы, руководители партийных школ, газетчики, трибунальщики, театралы и прочая. По сему случаю, не доезжая Бурной, план шестисотверстного пути был разработан примерно в следующем виде.

Один местный хлопец, Верничев, скачет вперед и по всем крупным селам и городам назначает собрания, заседания и совещания ревкомов, партийных комитетов, ответственных

работников. Назначает для этого точный час, а об этом часе по телеграфу заблаговременно сталкивается с нами. Я с некоторыми товарищами еду верст на сотню позади вчетвером: Лидочка – она кой-что и печатает в пути; «кум» – товарищ по работе; фамилии его не помню, а звали его почему-то «кум»; Ная – и друг, и жена, и верный спутник во всех походах гражданской войны. Дорог был каждый час. Надо было торопиться в Верный. И в то же время хотелось кой-что сделать в пути. Потому так и наладили. Одни, таким образом, готовят, другие проводят собрания, заседания и открытые митинги и оставляют на месте письмо-инструкцию едущей сзади компании. Они подробнее, основательнее входят в работу, выполняют и то, что мы оставляем в инструктивном письме. Этот план показался нам всем наиболее целесообразным. Так и решили сделать.

Всех позади, замыкая шествие, во главе небольшого отряда, охраняя обозы, двигались: ранее упомянутый Гарфункель и общий дружок – Рубанчик.

Кроме сих двух, с обозами ехал Медведич – мой близкий друг и вестовой на всем протяжении гражданской войны. Еще в девятнадцатом году после ранения он попал ко мне восточным в уральских степях. И с тех пор кружил: в Самару, в Ташкент, в Семиречье, на Кубань... Там и в партию вступил. Застрял. Пропал из виду. У всех нас в памяти он остался как лучший и верный товарищ в самые трудные, опасные моменты; он в дальнейшем пережил с нами все тревоги в дни мятежа.

За беседой, за спорами не заметили, как убегали полустанки назад, как ближе, все ближе подвигались мы к конечной станции – к Бурной. Уже далеко позади оставлены и фруктовые ташкентские сады, и жаркое солнце, и голубое прозрачное небо, и узбекские разноцветные халаты. Распутица в этих краях такое время, когда запасайся и жестким брезентом на слякоть, на дождь и овчинным тулупом – на случай горных буранов и утренних холодов.

Вот – далеко-далеко, за открытой пустынной равниной – сверкают ослепительно в солнечном блеске снежные хребты Тянь-Шаньских гор. До них так близко и так далеко. А впереди по пути будут еще и вязкие глинистые топи и буйно прорвавшиеся горные реки, сбитые мосты, величавые скалы, и на горных высотах еще не раз скуют нас прощальные морозы, закрутят последними буранами бешеные ветры гор. Всего будет: об этом пророчат местные знатоки.

Чем дальше от Ташкента, тем выше уходит дорога, и ближе, все ближе к полотну подступают высокие гордые скалы.

В равнинах снег почти сошел, он остался только на предгорьях и выше – в горах.

Коротко, редко пробивается солнце сквозь повисшие темно-бурые тучи и густые туманы, прилипающие к горам. Пасмурно. Холодно. Тихо. Растительности никакой. Только возле киргизских поселков и раскиданных здесь и там угрюмых серых юрт – одиноко, сиротливо чернеют какие-то чахлые незнакомые деревца. Узбека здесь не встретишь, ютятся только киргизы. В этих горных просторах по склонам киргизы пасут свои стада. Возле станций прилипли и наезжие, главным образом русские поселенцы, – их особенно много в придорожных городках.

И здесь до Бурной, пользуясь долгими стоянками, кой-где слезаем, ознакомливаемся с постановкой дела – в совете, в партийном комитете, в военном комиссариате. Обнажаются печальные и любопытные картины.

По Советам, куда ни глянь, затесались совсем чужие дрянные людишки: кулачишки, кулаки, кулачищи, баи – тузы, всех сортов торговцы и спекулянты. И вся эта случайная шпана творит под флагом Советской власти самые смердомерзкие дела. Больше того – многие из них проникли в партийные комитеты и уже под именем «коммунистов» творят свою собственную, из ряда вон оригинальную «политику». На одной небольшой станциишке нам, например, сообщали, что товарищем председателя в партийном комитете состоит отъявленный спекулянт, владелец целого ряда всевозможных лавчонок. Он недавно открыл еще одну лавчонку со специальной «высокоблагородной целью». Эту лавчонку он предназначил для сына, и когда ему передавал, то строго-настрого выговаривал:

– Это тебе, Алешка, теперь не то, што старая капитализма какая... Теперь у нас советский строй, и каждый должен в ем работать. А ты, шалопай, чего баклуши бьешь... Кто не работает – тот не ест, – у нас вот што... Все должны трудиться... И ты не болтайся впустую, сам зашибай денюгу...

Это не шутка – факт самый доподлинный. И рассказывал нам его железнодорожный рабочий – по всем данным, серьезный, отличный парень, не врунишка, не пустомеля. В этой достославной партийной организации насчитывалось членов свыше трехсот человек. И это в местечке, где всего-навсего три с половиной – четыре тысячи населения. Как будто радоваться бы надо, что такой завидный процент, что партия здесь такой успех имеет. Но скоро нам открылся этот «секрет». Дело обстояло до смешного просто: как-то пронесся заманчивый слух, будто «всех коммунистов мануфактурой делить станут», – и жители поперли в партию ватагами... Мы слушали – ушам своим не верили. Потом справились, что за состав, – оказалось, рабочих всего человек пятьдесят, а остальные «так себе... жители». Эти «господа так себе» в те дни по глухим районам Туркестана отнюдь не были исключением, – ими обильно восполнялись партийные организации. Недаром же в те дни распускались по Туркестану даже областные партийные организации, а сколько пораспущено было мелких – о том одному ЦК туркестанскому известно. На этом примере мы сразу хватили горького яда туркестанской действительности. И первоначально даже опешили, струхнули перед такими ужасами. Но когда остались одни и стали обсуждать, что увидели, услышали, узнали, – только острее почувствовали весь размах и всю серьезность работы, что предстояла нам впереди.

– Советы и партийные организации забиты всякой швалью, – рассуждали мы. – Слой рабочих тощ, а может, и недостаточно к тому же сознателен... Трудовое мусульманство – опора Советской власти, ее основной, коренной здесь фундамент, – эта масса все еще темна и в плену у своего духовенства, у своих богачей, манапов и баев... Пока эта масса не раскачается, пока в ее мрачную толщу не проникнут лучи просвещения, до тех пор не выполнена будет главная, основная задача по укреплению здесь Советской власти. Вот как стоит вопрос. Задача чрезмерно трудна. Так бодро за дело. Будем верить в успех!

Мы примерно в этих тонах с такими выводами вели свою беседу. И уж не страшна, не трудна была предстоящая работа, хотя понимали мы, что это приподнят был лишь краешек завесы, что если настежь распахнуть – обнажатся раны еще более глубокие и гнойные, которые лечить надо ой как долго, ой как настойчиво.

И все же, нащупав мысленно верный путь, поняв, что только в кишлаке сплетаются все нити и сходятся все пути, мы почувствовали себя увереннее и быстро превозмогли свою мимолетную растерянность. Уже здесь, в пути, зародилась у нас мысль создать в Верном для «нашего брата» курсы киргизского языка; эту мысль по приезде быстро и осуществили. Здесь же обменивались мыслями и о том, что для националов надо создать летучие начальные курсы, – эту мысль тоже не забросили, когда по приезде взялись за дело. Но об этом потом, в своем месте, а теперь воротимся на Бурную.

Наши представления о распутице оказались преувеличенными. Лучше сказать – опоздали мы со своими опасениями: главная распутица уже две недели кик миновала, теперь остались только следы, – кое-где припрятавшиеся, уцелевшие снежные горки, притихающие, но все еще буйные ручьи, выброшенные на берег мосты... Это хвостики распутицы. Только по горам еще царствует зима, только там до сих пор и стужа, и снег, и бураны. А здесь везде по равнине чувствуется во всем горячее дыхание весны.

От Бурной без передышки нас должны везти шестьдесят – семьдесят верст до небольшого городка Аулие-Ата. Но лошадей раздобыть здесь чрезвычайно трудно. Несмотря на наши «особенности» и «чрезвычайности», несмотря на грозные наши жестикующие семимильными мандатами, несмотря даже на вдохновенную классическую брань станционного коменданта (не

то сочувствовавшего нам, не то торопившегося сбыть нас поживее), – несмотря на это всё, председатель Совета той деревушки, откуда следовало взять лошадей, невозмутимо докладывал:

– Нет лошадей...

– Так как же мы поедем? – грозно наступали мы на спокойного мужичонку.

– А мне што?

– Как что? Нам ехать надо: немедленно, срочно, по особым делам, – понял?

– Понял.

– Ну, так что же?

– Ничего...

И мы снова начинали понимать его то мольбами, то угрозами, но мужичок, зная, «видывал виды», и на мякине его не проведешь: невозмутим, как истукан.

– Не сам запрягусь, повезу: ишь, какие нашлись.

С тем и уехали. Лошадей не получили.

Скакать пришлось в другую деревушку, верст за восемь. И только наутро оттуда пригнали две «обывательские» подводы. Горой нагромоздили мы разное барахло (мужичок совсем не умел его увязать), забрались на самую макушку – тронулись. Крепко потряхивало, – то и дело ждали, что полетим кувырком. Было всем почему-то весело. Мы перекликались с воза на воз, острили, забавлялись, как малые ребята. Клим Климыч – так звали моего возницу – оказался очень разговорчивым, толковым, умным мужиком.

– Из новоселов мы будем, – пояснил он тихим, задушевым говорком. – Новоселы тут статья особенная...

– А что это за новоселы? – спрашиваю его.

– Мы этак прозываемся, видишь ли, – так что недавно здесь совсем – ну, шесть али восемь годов... До тех пор в Харьковской губернии проживали. Тесно стало – мы и давай сюда. Помощь дали нам на поездку, правительство способствовало. И здесь помощь была – земля, постройка... Так все вот мужики, что наехали сюда не больше годов десяти, – все они новоселами и зовутся, а те, которые годов сорок али шестьдесят живут, – старожилы они. Старожил – мужик богатый, у него одной скотины невесть что. Хозяйство какое! Стройка, сад, огород... Ну, да што говорить – одним словом, купец-мужик.

– А вы? – спрашиваю Климыча.

– Тоись новоселы, што ль?

– Да, вы-то как живете?

– А мы вот то-то и дело, што – «как живем». Плохо живем, одним словом. Годов-то десяток пройдет, и мы окрепчаем, а пока што – никуда не годится. Нету у нас ничего, окромя земли. Да и земля – какая она; не везде одна... Сунься вон на Каюк-гору, как она тебя камушком-то щелкнет...

– А вот рассказывают, Климыч, – обратился я к вознице, – будто киргизы, так эти и вовсе нищими живут. У них и того нет, что у вас, новоселов?

Мне любопытно было послушать, что он ответит на этот скользкий вопрос. Климыч ответил не сразу. Полминутки помолчал. Потом осанисто расправил карюю бороду-лопату, потрогал себя за нос, сплюнул и, глядя перед собою в пустую равнину, словно только для нее выжимая слова, медленно выговорил:

– Все лень одна.

– Как лень! – изумился я.

– А то што? Лень... И начисто лень, больше нет никаких причин. Ты сам посуди, господин хороший...

– Не господин – товарищ, – поправил я.

– Ну, товарищ, все одно, – согласился он невозмутимо. – Я, к примеру: вот она, весна подошла. Што я делаю? Не все же вашего брата, комиссару разную, катаю, – язвнул он, – бывает, что и работать возьмусь. А уж как возьмусь работать – лови меня по полю с утра до ночи. Пахота миновала, яровые приготовил – там колесом закружило: травы подошли, сенокосы, жнитво, а под осень – опять ее, матушку, ковырай, загодя думай, што надо... Так весь мокрый от пота и ходишь все месяцы. А он што, киргиз? Сел на кобылу, свистнул, да и был таков – лазит тебе по горе, мурлычет, скотинку пасет... Скотинку пасти – што не пасти? А вот с землей повозись, тогда узнаешь кузькину мать.

Я дал ему, Климычу, выговориться до конца и стал объяснять, почему киргизы занимаются главным образом скотоводством, какое это длительное и трудное дело – от скотоводства и непрестанных кочевий осесть на землю, взяться совсем за иное, за непривычное дело. Сказал Климычу, что и Советская власть заботится о том, чтобы кочующих киргизов превратить в оседлых...

– Да, превратишь его, – ухмыльнулся Климыч. – Ему на што любо по горам-то шататься: это тебе не землю пахать.

– У них же и земли нет по-настоящему пахотной, – говорю я Климычу, – нет навыка к работе, ни плуга, ни бороны, ни серпа – ничего нет.

– А кто ему велит... Пробовали, давали. И борону давали, и серп... Повертит-повертит в руках, даже и работать, пожалуй, возьмется сгоряча, а потом плюнет, марш на кобылу – только его и видели. Поэтому крестьянин здесь и дружбу с киргизом не ведет... В этом самая сила.

– Значит, дружбы нет? – задаю ему острый вопрос.

– Оно не то штобы нет, а и не то штобы есть, – разводит Климыч мудреную, непонятную философию. – Где как водится – тоись насчет этой дружбы. Старожилы их самих уж больно не любят: собаки, говорят, какие-то блудущие, да и только... Ну, старожил – ясное дело, не любит отчего: богат не в меру. Где ему киргиза бедного за человека, да еще за равного, себе сосчитать. Он, поди, и нашим братом гнушается – новоселом. А новосел за то не уважает киргиза, что к труду он неспособен. Единственно. А что впрочем – тут ладно идет... Одно слово, ладно...

Я долго пытался внушить Климычу мысль, что исторические периоды в жизни целых народов чередуются в известном порядке с железной, неумолимой последовательностью; что каждый киргиз в отдельности ни прав, ни виноват в том, что он кочевник, что он до сих пор не осел на землю, что не занимается пока земледелием и т. д. и т. д. Я все хотел ему доказать одно: что какого-то особенного, прирожденного национального порока во всем этом нет и быть не может, что все эти особенности были бы свойственны и любому другому народу, если бы только он оказался в совершенно таких же условиях, как киргизы. Климыч слушал внимательно. Даже перестал окончательно высказываться сам и усиленно, сосредоточенно пытался ухватить какую-то одну, самую коренную, самую главную из высказанных мной мыслей.

– Коли он ни при чем, так я, значит, тоже ни при чем. Я, значит, что бы ему ни делал, что бы ни говорил – так оно тому и быть? Так, што ли?

Он простыми, неуклюжими словами подходил к глубочайшему вопросу материалистического учения: свободен человек в поступках своих или нет. Сам по себе он поступает, человек, тем или иным образом, или обстоятельства, условия – предшествующие и настоящие – заставляют его поступать именно так, а не иначе?

Это был воистину преинтереснейший разговор. Я не помню его в подробностях, но знаю, что вместе с Климычем мы оглядывались на жизнь киргизов до наезда сюда богатых крестьян, потом припомнили, что заставило крестьян кинуться саранчой именно в Семиречье (обильные нетронутые богатые земли; выгодные условия, предложенные царским правительством; дешевая жизнь; легкая возможность забрать в кабалу забитое киргизское население края и т. д.), вспомнили, как себя крестьяне вели по приезду, как измывались над местным населе-

нием и *как* по праву заслужили со стороны киргизов глубочайшую и искреннейшую ненависть. Когда мы все эти факты перебрали по пальцам, когда подвели все итоги:

– Ну, что, – говорю, – Клим Климыч, как, по-твоему, рассуди своей умной головой, могли *после всего этого* как-нибудь по-иному сложиться у крестьян отношения с киргизами или с крестьянами у киргизов? По-моему нет...

– И по-моему, нет, – сознался откровенно Климыч, – а все-таки он, киргиз, лодырь.

После такого неожиданного заключения я даже рассмеялся. Это чуть-чуть обидело Климыча.

– Вам, комиссаре, известно – смешки, а нам тут туго вместе-то жить...

И разговор повернулся на иные темы. Я видел, что насчет «комиссаре» надо ему кой-что сообщить поподробнее, указать, кто они и откуда берутся, разъяснить, что это совсем особенные «комиссаре», не те, которые записываются в партию лишь для получения мануфактуры, и что тех мы из партии выгоняем.

Основное состояние Климыча при разговоре со мною – было состояние недоверия. И все же в конце, в итоге любой темы я видел, что если он не *поверил* моим словам, так уж во всяком случае *усомнился* в своих: а это тоже немалое дело – поколебать человека в его привычках, мертвенно-окаменелых взглядах. Надо сказать, что какого-либо систематического разговора вовсе у нас не было, с темы на тему скакали мы с быстротой молниеносной, к одной и той же теме возвращались по нескольку раз.

– Вот за Каюк приедем – сухо будет, – сообщил деловито Климыч и, переждав, добавил: – все пузо утрясло...

– А где это Каюк?

– Где Каюк? Да вот он самый тут и есть, по ём стали ехать... Вишь, гора...

Климыч насчет горы загнул рановато: подъем начинался только версты через три, а Каюк в эту сторону, к Бурной, издали был как-то даже и не особенно приметен. Мое отношение к Каюку, видимо, не понравилось Климычу.

– Ты сам-то откуда будешь? – спросил он совершенно неожиданно.

– Из-под Москвы, а что?

– У вас там, поди, и вовсе гор нет никаких, что у нас по Харьковской.

– Какие горы...

– То-то вижу: человеку всегда обвыкнуть надо, чтобы сразу понимать али видеть...

Мы за разговором дотряслись до подножья Каюка и стали заметно подниматься в гору – и чем дальше, тем круче-круче. И трудно и любо. Мы уж соскочили давно со своих опасных вышек и перескакивали с камня на камень. Когда миновали подъем, открылось широкое ровное пространство, по которому выпирали всюду огромные каменные глыбы. Эти глыбы местами на двадцать – тридцать шагов представляли ровную, гладкую площадку, а то вдруг выскакивали каменными тумбочками, одна за другой, – подобно тому, как торчат памятники на татарском кладбище. На Каюке просторно, вольно, легко. И помину нет той непролазной глинистой грязи, по которой все время хлюпали мы от самой Бурной. Здесь совершенно сухо, местами даже пыльно. Дорога кружит и мечется из стороны в сторону, принаравливаясь к местности, обходя неудобные скалистые места, выбиваясь на ровные плоскогорья. А когда начали спускаться и круто поворачивали за скалы, вырываясь из тесных стен – одна за другой, одна другой прекрасней развертывались картины широких лугов, бескрайней дороги. За Каюком, под горою, сразу поражает какая-то особенная тишина. Здесь и самый воздух как будто легче, светлее, и дышать свободнее, чем по ту сторону, и дорога совсем иная; широкая, ровная, укатанная, без малейших рытвин, без ухабов, по которым так намаялись-натряслись перед торой.

Как только спустились вниз – попали на развалины древнего караван-сарая. По преданию, когда-то был богатый и гостеприимный перепутный пункт, в котором любили останавливаться проезжие: и сами могли отдохнуть и коней, взмыленных перегонами, подкормить, –

платили за все грошами, а то и в долг питались у знакомого гостеприимного чимбая. Все шло хорошо, как вдруг чимбай – хозяин караван-сарая – куда-то бесследно пропал. Говорили, что он уехал к себе на родину, в один из горных кишлаков в тянь-шаньских ущельях. Стали содержать караван-сарай его двоюродные братья. И вот в глухую осеннюю ночь на Каюке какие-то молодцы наскочили на ехавший обоз... Была свалка – с ножами, с криками о помощи, со смертельными хрипами и стонами умирающих.

Слышали это в караван-сараях. Но никто не отважился в глухую пору побежать на помощь. И до утра не знали ничего: в трепете провели остаток ночи, а с зарею, когда пошли дознаться, что было на горе, увидели там пять трупов, зарезанных и задушенных, а повозки были разграблены, и все было растащено или разбросано тут же около телег, возле трупов. Лошадей тоже не было – их выпрягли и угнали. И с той самой ночи пошла про Каюк дурная молва. Недаром пошла она: то проезжего, то прохожего задушат, оберут до нитки, угонят лошадь, пустят в чем мать родила.

И стали доглядывать за братьями, которые поселились в чимбаевском караван-сараях. Брало сомнение, что не без их помощи проходят на Каюке все эти черные дела. И дознались: разыскали как-то трое прохожих солдат армяки и тулупы, снятые с убитых на Каюке проезжих сельчан. Когда не было дальше никаких сомнений, а народу вдосталь съехалось в караван-сарай, выкатили из погреба бочку с керосином, облили с разных сторон преступное гнездо и зажгли. В пылающее пламя связанными бросили обоих братьев и спалили их вместе со всем добром. С тех пор на месте караван-сарая только груда камней да разрушенная печь торчат сиротливо и угрюмо.

В этот милейший приют мы теперь и приехали. Климыч быстро выпряг лошадей, задал им корму, а сам начал возиться с возами: подправлял, подтягивал, засматривал с разных сторон, зубами раскручивал тугие узлы и опять упаковывал, перевязывая наново, ухватив веревку и крепко упираясь коленкой, словно засупонивал хомут. Он все время, пока стояли, хлопотал с возами, даже не присел и тогда, когда дела возле них уже не было явно никакого. А мы вчетвером, как водится, расположились сейчас же с хлебом, с яйцами. Не удивляйтесь в двадцатом году хлебу и яйцам, – Семиречье и в те годы голода не знало, хлеб и яйца там были совсем не в диковинку. А тут уж близко и к сытым местам. От караван-сарая поехали быстрее по гладкой, ровной дороге. Скоро были в Головачевке. А за Головачевкой – и в Аулие-Ата. Головачевские мужики, надо сказать, приняли нас совсем негостеприимно: в два-три дома толкнулись за молоком – не дали наотрез, а когда хитрая, лукавая бабешка из богатого высокого дома согласилась дать, то заломила настолько невероятную цену, что мы только отблагодарили ее уж совершенно «невежливо» (выражаясь скромно) и с проклятиями поехали дальше.

Не забыть переправы через реку. Буйные весенние волны, разыгравшиеся от тающих горных снегов, неслись настолько шумно и быстро, что страшно было к ним приступить с берега. Речонка неглубокая, дно у нее каменистое, и в обычное время, верно, куры вброд ее переходят без смущенья. Но теперь раскатилась она в двадцать саженей шириной и так отчаянно бесилась, как, помню, бесится только Аракс под Джульфой на персидской границе или Кистинка – горная река близ Дарьяльского ущелья.

– Не объехать ли? – смущенно запрашивали мы Климыча, с тревогой поглядывая на бешеную скачку волн.

– Некуда – здесь надо будет, – ответил спокойно Климыч и, видно, для того, чтобы убедить еще больше нас в этой необходимости, рассказал, как тут два дня назад при переправе у мужика с воза сорвало и унесло бочку с маслом и телегу всю вдребезги разбило, а сам он уцелел лишь потому, что цепко ухватился за гриву своего надежного пегого мерина.

Становилось и в самом деле не по себе. Попасть в эту кутерьму не хотелось. Но выхода нет – ехать все-таки надо.

– Кричать надо шибче, – поучал нас Климыч, – лошади чтобы посередке не стали.

«Ну, – думаем, – уж на этот счет, Клим Климыч, не сомневайся, – так нашумим, всем чертям тошно станет».

Медленно, осторожно ступали лошади по крутому каменистому ложу реки. И чем дальше отходили от берега, тем заметнее тужились и напрягались, отворачивая в сторону от волн разгоряченные морды и всем корпусом инстинктивно повертываясь навстречу холодным накатам, подставляя им широкие, мускулистые груди. Понуканья и оклики Климыча и наш безумный, звериный вой едва ли оказывали на замученных коней какое-либо существенное воздействие. Видно было, что они поступают так, как им самим легче и удобнее. А мы все надсаживались и добросовестно орали что было мочи. Каждую секунду казалось, что телегу нашу со всеми вещами уже перекосило, накренило и кувыркает в бешеные волны, мы инстинктивно цеплялись за узлы и веревки, перебрасываясь всем корпусом в другую сторону. Наконец миновали главную опасность, стали близиться к другому берегу. И вдруг повеселели, рассмеялись над своим недавним страхом: так всегда – пережитый страх или мгновенный испуг уж через минуту кажется и смешным, и странным, и непонятным.

В густые вечерние сумерки подъезжали к Аулие-Ата. Последние версты до окраины города, где разбросалось киргизское кладбище, изрезаны оврагами, исполосованы узкими щелями в песчаных скатах, испещрены глубокими зияющими норами: здесь любимые волчьи места. Совсем близко к дороге подступают густые заросли мелкого кустарника, опоясано кустарником и киргизское кладбище. Рассказывал Климыч, будто здесь совсем недавно волчья стая бросилась ввечеру на верхового киргиза, и наутро от гневной кобылки нашли только горсть волос, а от несчастного наездника – дырявые, старые баретки. Мы невольно после этих милых рассказов похватились за оружие и в первую улицу засыпавшего города так и въехали с револьверами наготове.

По-дружески, радушно встретил нас военный комиссар. Уж знали, что к этому часу приедем, ждали в партийном комитете, отвели пару комнат, даже диваны для сна приготовили. Словом, мы были очень рады такому началу и целую ночь пробалагурили в саду и в комитете о разных делах. Только женскую половину нашу укачала шестидесятиверстная дорога, – их уложили. Наутро, в девять, было назначено объединенное заседание партийного комитета, ревкома и военкомата. Цель заседания: получить от них наиболее полную информацию о партийно-политическом, экономическом и военном положении района. С другой стороны, ввести их в курс последних событий. Впервые здесь, на заседании, я почувствовал подлинный восточный аромат; больше половины присутствующих работников было из киргизов и татар. Отдел за отделом, одна организация за другой сообщали об итогах проделанной работы.

Выяснилось, что по селам работа среди кулацкого, колонизаторского крестьянства вообще не имеет никаких шансов на успех, – кулаки глумятся и издеваются над советскими распоряжениями, отказываются выполнять всевозможные приказы, особенно по части продовольственных сборов, гонят из сел советских представителей – и слушать их не хотят, угрожают расправами. Их, кулаков, если и понукают подчиняться приказам, так исключительно угрозой подвести один-другой батальон под самое село. Совсем не то у новоселов. Эти середняки к Советской власти относятся хорошо, бесчинств не творят никаких и дело до скандала не доводят. Все работники, конечно, понимают, что основой для работы должен быть кишлак. Но подступиться к нему чрезмерно трудно. Масса киргизская – это пока неприступная, глухая стена. В лобовую политическую атаку с ней ничего не поделаешь. Эта темная масса еще не вырвалась из-под влияния баев, манаров и мулл – своих угнетателей. Рассказали один характерный пример. Где-то в голодном кишлаке очутился отряд красноармейцев и помог беднякам-киргизам забрать из амбаров местных богатеев все залежи продовольствия. Увлеченная примером беднота живо разобрала все, что было припрятано у баев по амбарам. Но лишь только отряд оставил кишлак, все эти голодные бедняки с мешочками и сумками потянулись к тем самым амбарам, откуда недавно брали муку, – они ее возвращали сытому баю, потому что перепуга-

лись своих же собственных дел, а помощи в лице отряда больше уж не чувствовали. И отдали обратно все, до последней пылинки, а сами продолжали голодать, как голодали и прежде.

К такой массе действительно подходить надобно было крайне осторожно. Да и кому подходить: работников вообще тут кругом – хоть шаром покати, а опытных работников из националов – и совсем мало. Кишлак остается без присмотра и без помощи, а это значит, что в стороне остается пока основная сила революции в этом крае – трудовое мусульманство. На эту тему долго, много говорили, – впрочем, мы, приезжие, больше слушали, – ну, что мы тут могли посоветовать, когда половину фактов слышали только впервые и только теперь начинали себе составлять о них ясное представление. Оказалось, что по селам и кишлакам киргизским ходят слухи, будто скоро крестьянам с киргизами надо схватиться врукопашную, померяться силами, припомнить 1916 год. Но об этом после: про 1916 год я подробно узнал лишь через несколько дней, об этом расскажу в своем месте. Эти тревожные слухи на всех нагоняют панику. Всем чудится зловещее дыхание неминуемой грозы. И не знают, что делать, как бороться, чем предупредить это страшное и неизбежное. Разослали в разные стороны партийных работников, дали им наказы, инструкции: убеждать, что слухи тревожные – выдумка, сплошная ложь, что эту панику распространяют враги трудового народа, которые хотели бы свергнуть здесь Советскую власть. В этом же духе составлялись и листовки, они массами распространялись по селам-кишлакам.

«Трудящиеся массы Семиречья, – значилось там, – никогда не допустят, чтобы их стравили, словно злых собак. У трудящихся всегда одни интересы, какой бы нации и какого бы племени они ни были. Пастуху-киргизу или землепашцу-крестьянину должен быть одинаково ненавистен и киргизский бай и русский крестьянский кулак. И тот и другой сидят на чужом трудовом горбу. Так не верьте, товарищи, подлым слухам о том, что близится час какой-то расплаты, будто крестьяне должны напасть на киргизов или киргизы на крестьян. Этого не будет и быть не может. Трудовые киргизы и крестьяне – друзья меж собой, а не враги. Будьте спокойны. Работайте, трудитесь, как это было и до сих пор. А Советская власть стоит на страже ваших интересов, она не позволит над вами глумиться разным подлецам и проходимцам, – она расправится с ними достойным образом».

С такими воззваниями кучки партийцев и разлетелись в разные стороны. Слышно, будто за последние дни стало тише. Слухи уж не так настойчивы. Кой-где поймали белых офицеров-агитаторов. Положение разъясняется.

Такова была политическая обстановка. Нечего сказать – веселого мало. В дальнейшем мы убедились, что услышанное в Аулие-Ата характерно и для всей области. То, что творится здесь, творится и повсюду.

Когда приступили к заслушиванию докладов на темы экономические – изо всех них можно было заключить следующее: край богат всяким добром, но добывать его пока не умеют и не имеют никаких возможностей. Крестьянство, как водится, пашет, киргизы – пасут стада. Но сократилась и пахота, сократились и стада; население, особенно киргизское, переживает тяжелую полосу. В самом городе и в наиболее крупных пунктах по уезду быстро растет и объединяется кустарная промышленность. Разрабатываются в окрестных горах, добываются различные руды, собирается в огромном количестве какой-то особый дубильный камень; в горных ущельях на диких деревьях собирается немало какого-то драгоценного смазочного материала. И добычу всего этого добра можно было бы удвоить, утроить, удесятерить, но общая беда – нехватка инструментов и всяких приспособлений – затормозила размах работы.

Видно было, что тут ребята не из теста сделаны и совсем неплохо себе представляют план работы. Только все это у них как-то слишком отвлеченно, слишком теоретично.

«То бы хорошо, да вот это бы неплохо... Если бы вот нам иметь это, да не иметь того, да если бы, да кабы...»

В этих «кабы» они запутались вконец. И, видимо, твердо-натвердо убедили себя, что «раз инструменту из Ташкенты не дают, значит, и делать дальше нечего», раз «общее положение республики тяжелое – значит, и у нас должно так быть», – словом, какая-то примиренность, успокоение на том, что есть, и неверие в то, что обстановку иной раз можно и перекувырнуть, можно многое изменить в ней и многому помочь даже с голыми руками, не то что «с инструментом из Ташкенты»: этой вот настойчивой, всепобеждающей энергии, всеперерабатывающей веры в успех, в возможность многое-много перебороть своей настойчивостью мы не чувствовали. Создалось впечатление, что сидят себе ребята – кумекают:

«А хорошо бы... А неплохо бы... Дабы... Кабы...»

И ждут инструкции сверху. А пришлют оттуда указания – и они преют, несчастные, добросовестно хотят их выполнить, искренно полагая, что весь смысл работы заключается в добросовестном механическом выполнении данных свыше указаний. Мертвенность, спячка, неуверенность в своих силах и в своих действиях, недостаточная вера в трудовую массу, ожидание указок сверху, медлительность – вот основные черты работы, которые бросались в глаза свежему человеку по всем этим бесконечным докладам, где «мероприятия» чередовались с «планами и предположениями», где снова и снова встречались «если бы» да «хотя бы», где в каждом слове чувствовалась узость, косность, омертвевшая привычка к исполнению вместо живого самостоятельного и инициативного творческого труда. Рассуждали неплохо, а вот работать как надо не умели.

Потом говорили о военном положении. Видите ли, слухи о готовящейся стычке между киргизами и крестьянами особенно настойчивы именно потому, что «гарнизоны ненадежны»: эти гарнизоны, пожалуй, и впрямь не прочь будут поучаствовать в каком-нибудь дебоше. Дело в том, что народ туда был собран без достаточного отбора, и попало в батальоны гарнизонные немало самого заядлого кулачья. Теперь проходит «чистка», но пока что результатов больших еще не видно. На днях мобилизовали полторы тысячи человек, отослали в Ташкент. Ничего. Мирно прошло. Среди националов мобилизации не было – шли только добровольцами. (Эту мобилизацию провели позже, когда население к ней было достаточно подготовлено.)

Гарнизоны ненадежны. Их усиленно, поспешно обновляют. Торопятся с политической работой, но пока «надеяться в случае чего я, братцы, на них не хочу», – так заключил военный комиссар свой коротенький доклад.

С девяти утра мы протолковали до пяти: целых восемь часов. Это заседание сразу поставило нас на ноги, дало нам довольно разностороннее и верное представление об общей обстановке не только здесь, в Аулие-Атинском районе, но вообще по всему Семиречью: качество работы и работников, отношения между киргизами и крестьянством, преобладающие настроения, качество гарнизона – все это, как две капли воды, всюду похоже было на аулие-атинские.

Вечеру уехали. Не на почтовых, – комиссар дал пару добрых военкоматских коней. Остальных – из ревкома. И такое подарил нам «ландо», – что твой Ноев ковчег: уберется десять пар чистых и десять нечистых... Покряхтываем, попрыгиваем на ухабах, вспоминаем слышанное на заседании. Дорога здесь чудесная: слева бесконечные просторы, а справа приковалась к пути неизменная спутница – горная цепь. Местами мы едем почти у самого подножья – так близко нависают над нами снежные вершины. В лучах багрового заходящего солнца ущелья были совершенно темны: словно на снежную прядь серебряных гор накинули черные длинные простыни, и эти простыни-ущелья зияли теперь по откосам.

А снега переливались, как драгоценные камни: и рдели янтарем, и голубели васильками, и полированной блестящей сталью сверкали в вечерних лучах. Была горная красота – величественно спокойная, поражающая невиданными гигантскими панорамами.

Так всю дорогу сопутствуют горные цепи, освежая воздух дыханьем поднебесных ледников и высочайших снежных вершин. Как они хороши, Тянь-Шаньские горы, в закатных, в

вечерних лучах; не узнать, не различить очертания снежных массивов от бегущих над ними белоснежных облаков, контуры движутся, меняют границы и формы, облака сплетаются, пропадают, возникают вдруг и вновь из темно-голубой небесной пропасти, – и не знаешь, где тут горы, где легкие, подвижные облака.

Было уже совсем темно, когда подъезжали мы к Уч-Булаку: это крошечный поселок в несколько дворов. Рядом с поселком – почтовая станция. Две шершавые, паршивые собачонки вынырнули из тьмы и жалобно, по долгу службы, облаяли нас хриплым лаем. Вышел на крыльцо заведующий почтовым пунктом; мы его даже и не рассмотрели как следует в темноте: только слышен был его глубокий, нутряной кашель, – было ясно, что с легкими дела у него плохи.

– Ночевать будете?

– Да нет, ехать надо бы, – отвечаем ему.

– Ехать нельзя, лошадей нет, – ответил он. – А потом волков тут много, ночью не ездят...

– Што волки – волки пустое!.. Вот лошадей главное: неужто нет ни тройки?

– Ни одной. То с почтой уехали, то пассажиры. Нет.

Я тогда еще не знал обычных приемов этой почтовой братии. Они смерть не любят возиться по ночам и непременно стараются дотянуть дело до утра, а иной раз и утром не прочь поканителиться, чтобы вообще было меньше им всякой возни, чтобы знали их почтовую милость: захочу – дам, захочу – не дам. Пришлось мне эту братию впоследствии и за ворот трясти, но об этом потом, потом...

– Так нет лошадей?

– Нет и не будет, – добавил он угрюмо.

Оставаться не хотелось, да надо было и ехать скорее, торопиться. До следующей станции, Ак-Чулак, семнадцать верст.

– А ну, махнем-ка на этих конях, не так уж они устали!

Начальник станции не знал, что у нас за кони, откуда взяты, и во тьме не разобрал ни возницы, ни Ноева ковчега.

– Нельзя ехать, – заявил он строго.

– Отчего нельзя?

– Оттого.

– А ты точнее, отец.

– Приедешь в Мерке, там узнаешь *точнее*, как составят «настоящий» протокол.

«Ага, – думаем, – значит, тут бывают протоколы и «не настоящие», а так себе: шутевые, плевые, для виду?»

Так он ничего и не объяснил. Лишь потом узнали мы, что на почтовых тройках можно ехать только один перегон.

Тронулись. В степи черная, глухая тьма. Не видно больше сизых бескрайних просторов, не видно серебряных горных вершин. Где горы подступают слишком близко, вплотную, там еще мрачнее, гуще сумерки, сосредоточенней и строже ночная тишина. А в местах, где уходят горы вдаль, свободней вздыхают степи, – здесь и мрак словно не так уж густ, здесь и звуки звончей, и легче, веселее, просторнее нашим коням. Где-то в отдалении – то приближаясь, то пропадая, уходя все глубже и глубже во тьму – жалобно и заунывно выли степные волки.

Недалеко от Ак-Чулака на развалинах сгоревшего караван-сарая засверкали нам навстречу три пары огненных глаз: мохнатые здоровенные волки, во тьме казавшиеся еще крупнее, стояли недвижные на мусорных ямах и обернули теперь в нашу сторону точеные энергичные головы. Мы проезжали совсем близко, и казалось, вот-вот они кинутся, вцепятся в наши повозки. И уж было слышно грозное рычанье. Но получилось нечто удивительное: они не тронулись с места, только прекратили рыться в отбросах и сверкающими взглядами провожали три мчавшиеся тройки. Кони зафыркали еще тогда, когда мы не видели самого кара-

ван-сарая, – теперь они рванули в сторону и вскачь понесли околесицей! Все это совершилось в несколько секунд. Мы похватали оружие, но кони промчались вперед, и стрелять уже не было нужды. Только все еще чудилось, будто сзади по пятам мчатся не три, а целая стая мохнатых мускулистых хищников, сверкая жадными, умными глазами.

Увидели, знать, что силы неравны, и не подумали кинуться, но и не скрылись, остались недвижимо в степи, словно застыли в раздумье.

Остаток в несколько верст мы домчали живой рукой. Вот он и Ак-Чулак.

Эти почтовые станции по Верненскому тракту все на один манер: низкий каменный домик, выбеленный известкой; через тесовые ворота – широкий двор; там десятка полтора-два замороженных лошадей; по двору и в стойлах обычно грязно, вонюче, мерзко. Самый домик разбивается на четыре комнатки; две для посетителей, а две для начальника станции, причем живет он по существу лишь в одной, так как вторая собою представляет «рабочий кабинет»; здесь он принимает, отмечает приезжих, дает им бумажки, получает с них другие, проверяет документы, заставляет расписываться – словом, проделывает всю свою немудрую процедуру управления станцией.

Вся разница между одною и другой станцией разве лишь в том, что один начальник отведет свои «покои» налево от крыльца, а другой – направо. В остальном же одинаково. В помещении пусто, холодно, неприятно. По стене, глядишь, приежился старый, грязный, весь изодраный диван на трех ножках, под четвертую положен кирпич, на нем дощечка, и все это закутано тряпичей. Стены совершенно голы; когда-то на них висели, верно, императорские портреты: до сих пор остались темные четырехугольные плешины и дырки из-под выхваченных гвоздей. Потолки совершенно черны от разных ночников, коптилок и подобной прелести. Мыть их, видимо, никогда не удосуживаются: я, ради смеха, устроил баррикаду из стола и стульев, достал-таки до потолка и, коснувшись пальцем, почувствовал, как он увязает, словно в болоте, в густом скользком слое всякой слизи и мерзости. По углам раскинуты настолько обширные паучьи сети, что, думается, не только мухе, и человеку будет из них выбраться нелегко. Во всяком случае мы к углам подходить остерегались: огромные черные пауки выглядывали оттуда зловеще и угрожающе. В разбитые, вывороченные рамы без стекол были воткнуты скорбные грязноватые дощечки, и болтались остатки брошенного киргизами-возницами отрепья. Сквозь зияющие дыры и ночью и днем приятно освежал свободно гуляющий ветер.

Мы отлично понимали, что «хозяйственная разруха берет свое», что «общее положение государства тяжелое», что, говоря прямо, нет стекол, нет кроватей, хороших стульев, столов, посуды, что лошадям нет достаточно корму, а двор вымостить – ни щебню, ни тесу, ни асфальту – ничего нет. И все-таки станции эти, а с ними лошадей, самый двор – все это добро казенное можно бы содержать в десятки раз и чище и крепче, если бы об этом хоть сколько-нибудь заботиться. Не так, видимо, смотрели на дело станционные смотрители: запущено и поломано все было у них до последней степени, а исправлять, чинить никто из них и не думал. Особенно тяжелое положение было у возчиков-киргизов. Эти возчики со своими семьями обычно селились тут же, около станции, часто во дворе, тотчас за воротами укрепляя свою утлую юрту. Набита она была битком черномазыми нагими, голодными ребятишками, из одежды и обуви, видимо, имелось лишь то хламье, что болталось на ногах и на бронзовом полуобнаженном теле.

Женщины чаще всего прислуживали на станции приезжающим, кормили-поили лошадей, ковырялись по двору, а возницы-киргизы, не зная отдыха, то и дело взбирались на облучок: то с почтой, то с пассажирами, то в одну сторону, то в другую. Они настолько были замучены и настолько привыкли эту замученность считать за обычное, положенное им, видимо, состояние, что даже не роптали, не протестовали, не веря в то, что когда-нибудь кто-то сможет облегчить им эту трудную долю, эту дьявольскую нищету. Киргиз-возница даже днем то и дело засыпает на облучке, – настолько он утомлен постоянным недосыпаньем, истощен постоянной голодухой.

Когда задается несколько часов свободных, возница-киргиз так и засыпает, в чем ходит и ездит целый день, – это, во-первых, делается от усталости, да и жаль было бы на раздевание и одевание тратить лишние минуты, а во-вторых, в стужу голяком спать холодно, а под отрепьем, называемым одеждой, у возницы обычно нет никакого белья.

Нищета непередаваемая. Терпение изумительное, граничащее с омертвением, полной бесчувственностью, примиренностью с самой ужасной, неслыханной нуждой.

Вот и вся обстановка, вот и все персонажи крошечной станции на Верненском тракте. Ак-Чулак, куда мы теперь поехали, похож был, верно, и на Уч-Булак, откуда мы уехали, – как и все они вообще были похожи друг на друга.

Забравшись в угольную комнатку, мы побросали там свои вещи, живо наладили самовар и стали вокруг него отогреваться. В соседней комнатке, на столе, отрезали от огромной буханки хлеба несколько кусков, а остальные (фунтов, может, двенадцать-тринадцать) оставили. Уже через пару минут буханки не было, – ее смыла со стола через окно чья-то ловкая рука.

Чему ж тут было особенно удивляться: голодуха брала свое, и нашу буханку разом взял на мушку чей-то зоркий глаз. Это обстоятельство заставило нас поснимать с окон разбросанные вещи, а дверь на ночь чуть-чуть припереть: кой грех, вместе с вещами упрут и всякие наши бумаги, портфели, документы и дела?

Только расположились чаевничать, с противоположной стороны, от Верного, подкатила тройка. Приехали два киргиза – оба советские работники из Верненского исполкома. Уже не запомню, совсем ли они оттуда уезжали, или только в командировку ехали, но впоследствии в Верном я их ни разу не встречал. Одному было лет двадцать, а другому, пожалуй, годов тридцать восемь – сорок, с узкими щелочками умных черноглянцевых глаз, с круглым четырехугольным лбом, шевелюрой смоляных волос – быстрый, энергичный в движениях. Фамилия его была, кажется, Чурбеков. Он даже как будто учился в Харькове и совершенно легко владел русским языком. Он понравился мне с первого взгляда. В такой глуши, в такой своеобразной обстановке было бы странно, если бы мы не разговорились в первую же минуту; во вторую минуту они сидели с нами за общим столом, и Ная дружески то одному, то другому подавала стаканы горячей мутной жидкости, которую мы без улыбки осмеливались называть чаем. Вполне естественно, что их интересовало то, что делается теперь в Ташкенте, а еще больше – что в Москве. Нас занимал Верный. И каждой стороне поскорее хотелось услышать ответ на целую охапку вопросов, задаваемых обычно сразу, один за другим, и по характеру самых разнообразных.

Что Польша? Что Врангель? Как в Донбассе? Верно ли, что в Москве открыли новый заговор? Почему там хлеб? Где Дутов и Щербаков? Что за население в Верном? Каков там исполком и партийный комитет? Кто читает лекции? Почему масло и яйца? Давно ли было последнее землетрясение? Каково состояние Красной Армии?

На всю эту уйму вопросов мы отвечали друг другу кое-как, второпях, и не заметили того, как остальная наша компания слегка начала подремывать... Мы с Чурбековым перебрались на ту самую хламиду, которую здесь называли диваном, приятельски закурили и, почувствовав один в другом нужного собеседника, затеяли долгий-долгий разговор. Он, этот разговор, совсем затухал в моей памяти, я запомнил лишь одно: рассказ Чурбекова о резне семиреченской в 1916 году.

– Чтобы эту резню понять, – начал он, – надо начинать не с тысяча девятьсот шестнадцатого года, а раньше. Царское правительство всей своей политикой способствовало тому, чтобы кровопускания эти были неизбежны. В самом деле, посмотрите: оно сюда, в глухое Семиречье, через свои переселенческие управления нагнало массу крестьянства. И, во что это крестьянство превратилось? В сплошную кулацкую массу. А разве мы его можем за это винить? Да опять же нет: здесь как раз бытие определило сознание. Только подумайте: колонизатору-переселенцу дается земля, дается пособие на постройку хозяйства, дается полная возможность

размахнуться на большое частное хозяйство. Ну, он и размахивается. Он становится настоящим богатеem, помещиком. То же самое и с казачеством. С другой стороны – гонимое, презираемое киргизское население. Ему не только помощь – его из года в год все глубже оттирают в ущелья, все выше загоняют в горы, окончательно отбивают от воды, от хорошей земли. Здесь киргизы ведь все больше занимались скотоводством, – впрочем, и до сих пор они занимаются тем же, да только... э-эх!..

И Чурбеков махнул рукой.

– Плохо? – спрашиваю его.

– Надо бы хуже, да нельзя, – процентов, думаю, двадцать – тридцать осталось скота-то всего, не больше... Киргиз остался теперь совсем с голыми руками. А тогда – в годы заселения Семиречья – стада были крупны, земли было много, нужды здесь не знали. Надо к слову сказать, что тут по области живут еще таранчи и дунгане, но этих немного: пашут, ремеслом чуть-чуть промышляют, извозничают... Эти тоже, сердяги, хватили горя немало. В общем можно сказать, что на всю область, то есть на полтора миллиона населения, киргизов приходится семьдесят пять процентов, так сказать, три четверти... А что они собою значили? Нуль. Круглый нуль – и больше ничего... Жали их, как только вздумается: тут тебе и кулачество, и чиновники городские, и своя же туземная шпана из баев, занявшая какой-нибудь пост по волости или уезду; потом обирают какие-нибудь торговцы, грабят скотопромышленники, где силой, где обманом, – ну, и естественное дело, что довели несчастную миллионную массу до белого каления. Царские пристава и волостная администрация считали киргиза примерно за собаку: высечь его, отодрать, избить, даже прикончить – было делом самым заурядным, а главное – безответственным: кто тут будет жаловаться? кому? на кого? Были кругом назначены всякие границы: здесь киргизу можно, здесь – нельзя, здесь его порют, здесь колотят, а здесь и расстреливают. Несчастное население заматалось в агонии, не знало, как ему выразить свой протест, как попытаться сбросить это тяжелое ярмо. И вот подошел 1916 год. До той поры кочевников-киргизов никогда не мобилизовали в армию, а тут вдруг посыпались приказ за приказом – понадобились сотни тысяч на пушечное мясо. Не выдержали киргизы – поднялись, заявили свой протест, свое нежелание идти в царскую армию. Эта грозная волна недовольства захлестнула все Семиречье, промчалась по горам, подняла киргизов на открытый бой. Царское правительство с молниеносной быстротой помчалось сюда карательные отряды, помчалось транспорты оружия, которым снабдило кулаков... И пошла резня. Открылась неравная кровавая битва: с одной стороны вооруженные отряды и освирепевшие кулаки, с другой стороны – почти безоружное туземное население, которому отчаяние и круглая безвыходность придали силу, отвагу и стойкость изумительную. Там, где врасплох заставляли крестьян или задремавший отряд, киргизы расправлялись жестоко со своими угнетателями, но, разумеется, долго выдержать они не могли, были разбиты и здесь и там, были теснимы все дальше, все дальше от своих кишлаков, – и скоро очумевшая от ужаса пятидесятитысячная масса рванулась через границу и ушла в Китай... А здесь, на месте, творились ужасы: насмерть засекали нагайками детей на глазах у матери; малюткам, ухваченным за крошечные ножки, мозжили голову о деревянный столб и мозгами обрызгивали стоящих вокруг хохочущих палачей; пленников строили шеренгой и одному за другим срубали головы, протыкали шашками, выпускали кишки, пропарывая живот. Изнасилованиям женщин и девушек, конечно, не было счету. В огне пожаров похоронены целые кишлаки... Несчастное население считало себя заживо погребенным. Это были годы таких невыразимых ужасов, которые словами трудно передать, которые нельзя забыть, которые должны себе найти какую-то историческую искупительную жертву...

Чурбеков замолчал, провел рукою по волосам и остановил на мне свой умный, печальный взор.

– Вот оно, – говорю, – и пришло теперь историческое возмездие: революция... Она дорога трудовому бедняку-киргизу и ненавистна кулаку...

– Да, мы так же думаем и говорим, только вот...

Он словно поперхнулся на слове, встал. Я не хотел прерывать у него течение мысли, молчал, ожидал, когда продолжит:

– Тьма-то... невежество – вот что страшно. Кабы не это, разве до сих пор оставались бы *они* в такой кабале и в такой нищете? Э-эх, да никогда!

– Раскачаются в свое время, – сказал я ему, и от этой общей фразы стало как-то неловко.

– Я тоже знаю, что раскачаются, – отвечал он, как бы не заметив никчемности моей фразы. – Только время надо большое. А знаете, – оживился он вдруг, – ведь эти пятьдесят тысяч киргизов, что убежали тогда в смертельном ужасе в Китай, – они возвращаются. Турци² выпустил соответствующее воззвание, зовет их вернуться, обещает дать им всяческую помощь, даже комиссию специальную назначили... Эта комиссия едет сюда, если только уже не приехала... Ох, дела большие – и трудные дела, ай-ай, как трудные.

– Что именно?

– Как же: ведь они там, беженцы-то эти, четыре года провели в ужасающей нищете, много вымерло из них голодной смертью; какой был скерб – все это прожито или разбито, никуда не пригодно. Они идут сюда измученные, изголодавшиеся, нищие в буквальном смысле слова. И что же находят? Или черные пепелища сожженных кишлаков, или постройки и земли, давным-давно занятые кулаками. Попробуйте теперь этого кулака выбить с ухваченной им земли. Это – новая война. Это – новое восстание, только уже кулацкое, – на защиту отнятой у киргизов земли, защиту своих привилегий, своего богатства... Вот положение. Комиссия Турцика, говорят, имеет огромные права. Так оно и должно быть. Иначе за такую работу и браться не следует... Но чует мое сердце, что даром это не пройдет: такие вопросы спокойно не разрешаются...

Мне еще мало понятны были тогда опасения Чурбекова, – я понял и оценил их только впоследствии, а теперь больше слушал и попросту верил ему на слово: его простая, бесхитростная речь убеждала удивительным образом.

Наш чуточный светлячок уже давно догорел. В комнате стояла черная тьма. Наговорившись вволю, пожали друг другу руки, и я ушел в соседнюю комнату, где на полу вповалку спали мои товарищи. Чурбеков остался спать на диване.

Они уехали ни свет ни заря. Когда мы поднялись часов в пять, Чурбекова с товарищем уже не было в комнате.

Следующую ночь переночевали в Луговом у кривого почтаря. Жена этого почтаря – взбалмошная франтоватая бабенка – все допытывалась, нет ли у нас пудры, краски, крему, духов, губной помады, румян, белил... И когда узнала, что мы едем по совершенно иному делу, была несколько огорчена. Бабенка сама командует на станции за своего кривого витязя, а он предпочитает, видимо, гнать самогон и сбывать его. Такие сведения дал нам про него другой почтарь, со станции Подгорной – лихой старик, смахивающий на царского пристава, ротмистр и шведский подданный, по фамилии фон Шень. Старик впал в детство, бредит героическими походами, в коих никогда не участвовал, но на которые считает себя безусловно способным и готовым ежеминутно; ротмистр невероятно врет, как старая дева – играет глазами и молодится, но зябнет на солнце и дрожит, как котенок: стар.

Третий почтарь, на станции Акер-Тюбэ, опять-таки глубокий старик, бывший крупный торгош и несомненно бессовестный эксплуататор. Теперь он представляет собою дряхлую, жалкую руину, которая готова рухнуть от малейшего прикосновения. Старик сух, строг и сердит. Говорить не любит: полная противоположность «героическому» холостяку фон Шень.

² Т у р ц и к – сокращенное: Туркестанский центральный исполнительный комитет. (Все примечания, кроме оговоренных особо, принадлежат автору.)

Одним словом, почтари – публика очень своеобразная, разнообразная и оригинальная. По части Советской власти у них самым левым взглядом был примерно такой:

«А черт с ними – пушай там становят кому что вздумается: нам-то что?»

Так мыслили наиболее радикальные из них, остальные размышляли более просто и довольно прозрачно, – нашего брата: «советчика», ненавидели. Так и говорили. Так и давали понять – совсем недвусмысленно. Выходило это у них, конечно, среди обывательской болтовни; было ясно, что дальше слов они никуда не уйдут, – ну, и черт с ними, пока пушай себе сидят – всему свое время.

Наконец приехали мы и туда, где составляют «настоящие» протоколы: в Мерке.

Начальник милиции дал нам джигита, а джигит привел на квартиру богатого узбека. Было ли тут у них раньше условлено, очередь ли пришла, или просто наугад его выбрал джигит, – этого не знаем. Но прием был замечательный! Ввели нас торжественно и чинно в большую, светлую, пустую комнату. Ни стола, ни стула. С непривычки мы сразу почувствовали себя неловко. Потом эти драгоценные ковры, которыми устлан весь пол, – так жаль их топтать сиволапами грязными сапогами. Не выдержали мы – разулись. В глубокой выемке стены поставлен сундук, окованный в жестяные полосы; на этом сундуке почти до самого потолка наложены подушки и многоцветные дорогие одеяла. Ковром накрыт сандал³. В сандале тлеют угли. И как только раскрыли перед нами предупредительно двери, сейчас же сами все куда-то убежали, а через пять минут втащили вымытые стулья и стол, – все это очистили, насухо вытерли, накрыли прекрасной цветной скатертью. Обстановка начинала веселить. Живо согрели самовар, и хозяин собственноручно наливал и разносил нам пиалы⁴. С нами все время был один товарищ от парткома с какою-то невероятно замысловатой фамилией.

Тем временем местные коммунисты собрались на общее партийное собрание. Здесь стояли почти все те же вопросы, что и в Аулие-Ата. Только уж не потребовалось нам заслушивать их столь подробно, – многое было знакомо, понятно, ясно без слов.

Вопрос о взаимоотношениях местного населения и крестьянства стоял и здесь в центре всеобщего внимания. Было ясно, что этот загадочный процесс, это таинственное, чуть уловимое движение является повсеместным – то более, то менее опасным, то вялым, то настойчиво жгучим. Говорили здесь, на собрании, что особенно беспокойно держит себя по селам крестьянство, что молва идет от него, а киргизы лишь ее воспринимают и насторожились чутко, ожидая новой бесшабашной расправы.

Вопрос стоял именно так, иначе стоять он и не мог, – но в этом убедились мы лишь позже, когда узнали всю правду о ликвидации Семиреченского фронта и о настроениях освободившейся Красной Армии. Мы пробеседовали здесь часа три. Какой-то седенький старичок с благочестивым видом записывал все, что говорилось, то и дело перебивая вопросом:

– Что вы изволили сказать?

Старикашка был, видимо, глух. Я ему сначала сердобольно отвечал, но потом перестал, и что он там записывал, уж, право, не знаю: вряд ли что и слышал путем.

Когда мы снова очутились в своем сказочном жилище, немедленно же притащили целую гору некоего жарко дышавшего кушанья. Это был пилав. Мы наелись, признаться, до невменяемости. Потом стащили с окованного сундука эти самые чудесные одеяла и стали стлать их на полу; уложили нас, укутали, потушили свечу. В окна мягкой и широкой волною вливался лунный свет. В комнате, увешанной и устланной коврами, было таинственно и до странности тихо. Мы затаили дыханье, не двигались, словно по уговору, и думали, верно, все об этой сказочной обстановке, об этой фантастической восточной таинственности. Уснули. Ночью, приподняв

³ С а н д а л о м называется выложенный посреди комнаты четырехугольник, где постоянно тлеют угли.

⁴ П и а л а – кружка вроде небольшой миски, из которой пьют чай.

голову, я видел, как один из хозяев сидел, скрючившись, возле сандала и что-то пришептывал. Так сладко и мягко мы не спали давно, а пожалуй, и никогда не спали. Поутру нас окружили те же заботы, что и вчера, и не было никакой возможности от них отказаться: отказавшись – обидишь хозяина. А это совсем не входило в наши расчеты. Скоро тронулись дальше, на Чалдовар.

В нем не задержались:

Путь-дорога лежит за Чалдоваром на Беловодск: это осиное гнездо белогвардейского мятежа в 1918 году. Тем более необходимо было здесь ознакомиться с настроением жителей, узнать – какими они живут интересами, чем недовольны, чего ждут, на что надеются. Уже через полчаса после того как мы приехали, народу привалило к Совету человек четыреста; полегоньку нас осматривали, ощупывали, спрашивали: кто, дескать, такие, зачем их, мужиков, собрали и нет ли новой «набелизации»?

– Да разве уж так часто вас мобилизуют? – удивился я.

– Не... не часто...

– А чего же вы всполошились?

– Да, ишь ты, сказывали, – военные будто люди наехали и весь народ на площадь загнать велят...

– Не загнать, – поправляю бородатого собеседника, – это я просил собрать вас сюда, чтобы потолковать о разных делах...

– Толковать, што не толковать... – ответил он и сразу замолк. Потом, после долгой паузы, чесанув за ухом, волосач еще раз брякнул: – Толковать, што же... оно можно... Только будто мужика приближать хочут.

– Это как приближать?

– А землю отымать, надыть, жалают... Одним оттянуть, а другим отдать...

– Полно, отец, – говорю ему успокоительно, – отнимать никто ничего и не собирается.

– А киргизне?

– Што?

– Ей, говорят, все теперь пошло: и скотина у ней будет своя, и земля от нас под ее отойдет.

– Да ты давно на своей-то пашешь земле? – спрашиваю его.

– Сызмальства, – проворчал волосач...

– Кто же у тебя – никто и не возьмет... Это, знаешь, о какой ты слышал земле, будто ее киргизам станут возвращать? Это вот что после шестнадцатого года...

Я пояснил ему, в чем дело. Старался как можно проще, убедительней, наглядней растолковать, что полунницей киргизской бедноте, возвращающейся ныне из Китая, надо помочь всемерно: это долг государства, это долг каждого честного человека...

Нас окружила густая толпа любопытных: всем охота была послушать приезжего. Слушали молча. Участия в разговоре никто не принимал. Даже не кивали головами, не пускали, по-обычному, односложных крепких выражений. Но лишь только сказал я про необходимость помочь киргизам, как толпа загудела оживленно:

– Што не помочь! Кто против помощи... Каждому помочь надо... А чем помогать-то? А што мы дадим? А как он станет работать-то? Кто его научит, да кто ему соху-борону подарит, – где это купцы такие?

И пошли и пошли – заговорили.

Был нащупан один из основных вопросов, о котором могли они говорить, не расходясь, три дня и три ночи...

Этот вопрос буквально всех интересовал и волновал. На наш разговор подходили все новые и новые кучки, толпа у лавчонки выросла настолько, что не было смысла вести дальше частную беседу, – полезней было начать собрание. Когда я об этом заявил – дружно согласились, и, уже залезая на ящик, вдогонку я слышал напутственные слова:

– Не больно красно только нам, штобы покрепче да попроще... Разную там «историю»-то не больно: ты о земле побольше.

Мы беседовали часа четыре...

От вопросов общеполитических, от оценки общего положения в Туркестане мы перешли к Семиречью, к крестьянству, к земле. И толпа разгорелась. Выступали охотно сами, указывали, как приходится потеть над землей, какую ценой дается им хлеб.

– А после этого отнять? Это што же за право такое? – выкрикивал с ящика желторотый сморщенный мужичок годов под пятьдесят. – Я ее, матушку, томлю-томлю своей работой, а тут на тебе...

– Правильно, верно!.. – кричали кругом.

Это мужичка подбодрило и воодушевило.

– Землю надо взять, вот што, – кричал он еще громче, – сама она не дается... Взять ее надо, да и взять-то умеючи.

Толпа замерла, слушала с восторженным вниманием.

– А ты думал – вот тебе тут и все? – повернулся он ко мне. – То-то... Нет, она тебя, матушка, дугой перегнет, а когда перегнет, тогда и накормит. Ефто самое знать надо всякому, а он што знает, пастух? Киргиз – пастух, он одну скотину и знает. Ну, и знай, чего ты ему землю еще пихаешь? Может, ему и не надобна эта земля... Наделил!.. Ты его скотиной дели, коли богат больно, а земля тут несподручна...

Под взрыв одобрительных криков мужичок спрыгнул с ящика. На его место моментально нашелся новый оратор – какой-то беззубый, с длинным бледным лицом, пожилой крестьянин.

– Неправду он, што ли, говорил? – начал он вопросом. – Одну что ни есть правду. А потому, что это все и есть правильно. Коли так оно было – так ему и быть: паси он свою скотину, а мы землю управим. Не умеешь, так нечего и брать ее... Порча одна от этого неуменья происходит...

Таких ораторов, повторявших почти буквально слова друг друга, проскочило человек шесть-семь. Только уж под конец выступил молодой худощавый мужичок в шинели, видимо, из красноармейцев.

– Не то вы говорите, мужики, – осадил он ораторов, – не умеет, не умеет... Эка мудрость – землю пахать... Научится, небось. Дело не о том, а вот о пасху скоро лбом ударимся, пахать надо яровые, а тут переделывать по самую осень... Вот оно – што страшно... вот где и нам да и киргизу с нами могила будет, – где хлеба возьмем? Мы тут переделываем, а земля останется пустая... Надо просить, штобы пока на передел нас не понуждали – поздно эту весну. По осени давайте, там можно, да и то время с чутью подобрать надо... А сейчас постановить, чтобы просить про это самое.

Умная речь его произвела на всех словно отрезвляющее впечатление, не было больше взбалмошных утверждений и предложений, били только в корень вопроса: как бы не оставить землю незапаханной.

Забегая вперед, скажу, что этот вопрос подробно обсуждали мы потом в кругу ответственных работников в Пишпекке и Верном и постановили просить центр – Совет комиссаров и Турцик – приостановить в интересах общего дела самый передел до осени. Там поняли, согласились с нашим мнением, прислали телеграмму, что передел временно следует оставить. Этою мерой была спасена область от большого недосева, грозившего ей в случае столь несвоевременной и опоздавшей возни с переделом, тогда как на носу была забота о яровом.

Когда мы из Беловодска приехали в Пишпек и разговорились с товарищами, они, оказывается, уж знали половину из того, что мы обсуждали с беловодскими крестьянами. Я, признаться, удивился этому быстрому способу сообщения.

– Каким же образом: по проводу, что ли? – спрашиваю пишпекских товарищей.

– То проводом, а то и нет, – отвечали они. – У нас тут проще делается: вскочили на коня – и айда. На ближнем селе али кишлаке передал, в чем дело, – оттуда другие поскачут дальше... От одной точки до другой... Бывает, что вся область узнает о каком-нибудь особо животрепещущем деле словно по телефону... Это тут «узункулак» зовется... В такой глуши, по горам – иначе нельзя...

Надо сказать, что в Пишпеке – на ряде заседаний партийного комитета, ревкома и ответственных работников – мало что узнали мы особенно нового. Все это уж было знакомо и по совещаниям в Аулие-Ата, Мерке, по массе разговоров в пути, бесед и открытых собраний: волновались земельным переделом, волновались слухами о готовящейся новой резне мусульман с крестьянством, жаловались на недостаток партийных работников, на полукулацкий состав гарнизона и т. д.

Между прочим, здесь впервые с разительной ясностью встал перед нами вопрос о недостаточном взаимопонимании и доверии меж собой даже коммунистов – русских и киргизов. Киргизы-коммунисты, объединенные в мусульманское бюро (мусбюро), то и дело стремились обсуждать вопросы только в своем кружке, как бы чего-то опасаясь. Когда я спросил председателя мусбюро:

– Ну, как у вас, товарищ, дела идут с пополнением – много новых членов?

– Очень много, – ответил он с удовлетворением. – Бывает, что целыми кишлаками вступают...

– Все до одного? – удивился я.

– Все, – не понял он моего удивления.

– Да ведь там же и баи есть – они как?

– Все, одним словом, целыми кишлаками, – повторил он еще раз и заговорил о чем-то другом. Мне потом объяснили, что по кишлакам укреплялось убеждение, будто «наша власть пришла, киргизская... а русских – вон отсюда»... И наименее понимающая часть из самых кишлачных агитаторов отнюдь не опровергала этого убеждения, а, наоборот, укрепляла его. Потому и кишлаками записывались в партию: чтобы повсюду национальным количеством вытеснить русских. Это было дико, нелепо, но это было так.

Пробравшись к власти, какой-нибудь бай, конечно, драл со всех по десять шкур, а все-таки на посту своем держался, пока не дощупывались сверху, что это была за птица. При последующих чистках вся эта публика была вычищена, выброшена из партии, и лучшая часть мусульманских коммунистов бережно стала охранять свои ряды. Но в половине двадцатого года ряды мусульманских коммунистов засорены были до чрезвычайности.

Помнится, что вопрос об отсрочке передела до осени мы решили в Пишпеке на ночном заседании. Были согласны тут все до единого. А после заседания, видимо, уж на заре, состоялось особое «фракционное» совещание мусульман-коммунистов: во всяком случае наутро они долго не соглашались подписать постановление, за которое ночью голосовали так определенно и единодушно. Даже они, эти сравнительно ответственные работники, были в то время еще полны недоверия к коммунистам немусульманам: вековой гнет, которым царская Россия давила националов в Туркестане, давил, конечно, и этих недавних коммунистов, и в них он оставил глубокие следы, которые живы волей-неволей, которые не пропадают в недели и месяцы. Только этим, конечно, и можно объяснить, что даже молодые коммунисты из мусульман очень осторожно и недоверчиво держались по отношению к немусульманам, кто бы они ни были.

Совместная работа разбивала эти опасения, но весь процесс перемены отношений был, несомненно, очень длительным, упорным и тяжелым – не закончился, конечно, он и по сей час.

Мы в Пишпеке задержались до следующего дня и перед самым отъездом в обширном цирке провели многолюдное собрание рабочих и красноармейцев. Оно прошло чрезвычайно

оживленно: вопросов задавали уйму и устно и записками; было видно, что интересуют собравшихся не только события и дела своего района или города – особенно много спрашивали о Москве, о Кремле, о Совнаркоме, об Ильиче, о красных фронтах. И можно было заметить, что факты, о которых рабочие где-нибудь в Самаре, Уфе и думать забыли давно, эти факты являются здесь новинкой, ими интересуются, как свежими новостями. Далеко-далеко позади живут люди в этих городках, селах, кишлаках, вогнанных под самые Тянь-Шаньские горы.

Где-то неподалеку от Пишпека был в те дни и Джиназаков, председатель особой комиссии Турчика по помощи киргизам-беженцам. Мы с ним в этот раз не видались. Но все, что приходилось слышать, изумляло.

– Тиракул Джиназаков, – говорили нам, – происходит из богатейшего рода. Он один из виднейших манапов. У отца его и до сих пор немало скота. Тиракул ведет переписку с манапами. Как личность – он весьма неприятен: бранчлив, завистлив, зол, скандален и склочлив. Шовинист до последней степени. За ним числятся разные «грешки», но от ответственности каким-то образом он ухитрился отвертеться. Теперь, оказывая помощь беженцам-киргизам, он дает понять, что здесь чуть ли не его личная добрая воля:

«Хочу – дам, хочу – нет».

Можно подумать, что, пожалуй, и добро он раздает свое, а не государственное: во, дескать, каковы мы, манапы, – помогаем бедноте!..

Мы слушали и поражались, не знали – верить этому или нет.

Итак, набитые всякими сведениями и вопросами, насыщенные новыми впечатлениями, тронулись мы дальше. Теперь уж до самого Верного не будет крупных центров вроде Пишпека и Аулие-Ата. Только села, аулы, белые мазанки-станции. И снова степь. И снова горы. Природа все строже, величественней и прекрасней. Близится Курдай. Мы эту ночь ночуем в Сюгатах.

Крошечная станция, кругом в горах, маленькая белая мазанка, тихая, желанная, куда спускаются с гигантского Курдая или ночуют темную ночь, чтобы по заре забираться в поднебесье, – это Сюгаты. Рядом – близ тесовых ворот – киргизские юрты. За юртами чистый просторный двор. На удивление чисто вокруг: и в белой мазанке, и около юрт, и во дворе, даже по стойлам: по всему пути – это единственное исключение. Про сюгатинского смотрителя нам говорили еще раньше, говорили, что это всем молодцам молодец и дело ведет образцово. Однако ж, и будучи предупрежденными, мы поразились и обрадовались, что вот, дескать, человек в одинаковых со всеми условиях живет, а посмотрите-ка, чистота какая, порядок какой во всем. Ну, одним словом, молодец, – настоящий рачительный хозяин! Глянули в лицо ему – спокойное, умное, серьезное. Встретил нас и просто и радушно, не было ворчания, не было и заботливой суеты, хлопанья, беганья, криков и брани... Это обстоятельство расположило к нему с первого шага, с первого слова. Когда готово было «чайное действо», мы даже и за стол уселись вместе. Иван Карпыч, – его звали, кажется, так, – позвал жену, покликнул отца, оказавшегося довольно занятым стариком, и мы таким образом за оживленным разговором просидели до темной ночи. Иван Карпыч то и дело отлучался – сбегает куда-то во двор или на волю выскочит, промелькнет под окнами, пропадет две-три минуты. Потом молча усаживается за стол и продолжает разговор с того слова, на котором остановился, уходя из-за стола. Это он, верно, проверял, как обстоит дело с конями: отпряжены ли, поставлены ли на место, задан ли корм, – мало ли о чем есть подумать. И как только он подымался, старик отец, предупредительно заглядывая ему в лицо, каждый раз начинал:

– Ты сиди, Ваня... Я сам, а?..

– Нет...

И Иван Карпыч исчезал за дверью. Мы разговор вели самый случайный, самый, что называется, легкий. Бывают моменты, когда хочется вдруг потолковать о чем-нибудь настолько без-

обидном и легковесном, чтобы вовсе не напрягаться мыслью, чтобы только вспоминать и перебирать что-нибудь очень понятное, знакомое, не вызывающее никаких сомнений, разногласий, споров. Гостеприимная обстановка Ивана Карпыча настроила нас всех на этот безобидный лад, и мы наперебой торопились разузнать, какая тут водится дичь кругом, близко ли подпускают утки, рябчики... Много ли зайцев? Не попадают ли по горам медведи или что-нибудь пострашнее? Как они, обыватели, чувствуют себя в этой мазанке глухими осенними ночами или в зимние бураны? И узнали, что дичи масса, что подпускает она вплотную, не пугается, до глупости доверчива. Узнали, что по горам попадают медвежьи берлоги, и были случаи, когда киргизы напарывались на медведицу с ребятами.

– Тут одно спасенье – утекай под гору... У медведя передние лапы не годятся для того, чтобы книзу шибко бежать – кувырнуться может... Только этим и спасаются... А иной раз в берлогу, того гляди, ногой ступишь... Горный наш медведь – у-у, какой живодер!.. Это не то, што какой-нибудь мишка косолапый в сосновом бору или в сладком малиннике... Этому лучше всего не встречаться – неровен час, все может быть...

Узнали мы здесь впервые про горных баранов с чудесными ветвистыми рогами, про быстроногих красавцев – горных козлов, которые так скачут по скалам, такие выкидывают отчаянные трюки, будто все это происходит на ровной, чистой долине. Охотников мало, даже вовсе нет. И оружия нет – пороху, дроби, – все перевелось. А дичь расплодилась обильно. Никого не боится, стала будто ручная. Пастухи-киргизы так изучили нравы этих горных жильцов, что баранов и быстроногих козлов бьют камнями, подстерегают где-нибудь за скалой, когда те пробираются в горы знакомой излюбленной тропинкой или спускаются на водопой к горному ручью. Зайцев не трогают, – их такое обилие, что прыгают по всему пути за Курдаем, словно кузнечики. Слушали мы и не верили.

– А вы сами охотитесь? – задаю вопрос.

– Было, а теперь нет... все подчистую расстреляли...

«Ну, – думаю, – раз охотился человек хоть пяток минут – надо быть осторожнее, слушать-то, слушать, а уши не развешивать: нальет. С охотника что и спрашивать».

Но впоследствии все оказалось правдой. Дичи в Семиречье неисчислимо: рябчиков мы едва не давили по пути – так близко подпускали, так долго не слетали с дороги; зайчата скакали то и дело; выходили на дорогу огромные неуклюжие дрофы и мирно паслись, почти вовсе не пугаясь нашего появления, и тяжело, как бы нехотя, подымаясь, медленно-медленно улетали в горы. А в горах – дикие козлы: прелестные, золотокудрые, быстрые, чуткие; мы их потом встречали многократно.

– Так неужто вам тут не скучно жить, в такой смертной глуши? – спрашиваю я старика.

– В этакой благодати да скушно, – изумился, а может, и оскорбился он. – Нет, чего там скушно. Да и некогда скучать – дела немало круглый год: то по станции надо помнить, то со скотиной али вот по своим делам заботу имеешь... Время теперь не такое, чтобы пошел, да и все тебе есть. Не-ет... Ты сначала подумай, потом догадайся, где да как все надо достать, а достанешь или нет – кто тебя знает. Может – и нет. Время знает, куда ему уходить, – скучать нам нельзя...

– Так вы же тут одни. Ведь совсем как бы в берлоге.

– Ну, нет, зачем, – вступился и Иван Карпыч, – берлогой наше место звать нельзя. Нас тут – гляди-ко сколько. А потом все время, что ни день, сюда-туда живой народ едет... И разные вести нам везут, одни вот от Пржевальска али Джаркента проедут да нам не то что про себя, а все, что в Китае-то делается, расскажут. Все расскажут... Потом, глядишь, с Ташкента справляется, – этот опять говорит. И выходит, что всё мы слышим да знаем, хоть и в горах живем... Только интерес надо иметь... то есть чтобы самому про все... А сам не будешь – известное дело, и в Москве берлогу свить можно...

После этих слов Ивана Карпыча мне стало как-то неловко за то, что мы так горячо взялись пытаться его да и всех по части горной дичи. И в то же время припомнил я два-три вопроса, которыми Иван Карпыч, видимо, старался отвлечь меня с этой темы на другую. Теперь я поддался, затушил охотничьи свои инстинкты, и разговор наладился совсем по иному руслу. Я рассказал ему про жизнь в Москве, – это больше всего занимало Ивана Карпыча, потом мало-помалу перешел к фронтовой жизни и ознакомил его с тем, что слышно было о «крымской бутылке», такая там сгрудилась для нас опасность, как мы думаем с нею бороться, что за жизнь теперь в Крыму, какой свирепствует там террор и как ведут себя, что делают там наши товарищи, подпольщики-большевики.

Иван Карпыч слушал сосредоточенно, не поддакивая, не кивая головой, никак не проявлял своего сочувствия, восхищения или горечи – вообще не обнаруживал своих внутренних переживаний в связи с тем, что слышал теперь от меня. От стола мы уже давно перебрались с ним на крыльцо и сидели на ступеньках. Остальная публика разбрелась кто куда, нас оставили вдвоем. Спускалась в горы весенняя тихая ночь. Все темней высокое чистое небо, все более расплывчаты и широки далекие остроконечные хребты, все ближе горные подножья – они идут, подступают вплотную, и в густом вечернем сумраке кажется, будто придвинулись они под самую белую мазанку. Какие-то шорохи, чуть уловимые звуки – и писк, и свист, и глухое гуденье – доносились с гор. Но этот горный сумеречный говор не нарушал величественной тишины, что остановилась над горами. Здесь, в сплошных массивах, среди гигантских скал в такую тихую ночь чувствуешь себя необыкновенно: переполняешься новым, неведомым доселе настроением, полон новыми неясными мыслями, весь глубоко взволнован, и восхищен, и полон радостных, торжественных чувств.

– Ну, Иван Карпыч, и красота же здесь, – не удержался я, сбиваясь снова с разговора.

– Неплохо, – промолвил он совершенно равнодушно. – А что этот самый Крым – не тово? – добавил он тем же спокойным тоном.

– Чего?

– А не опасно? Баню нам не дадут?

И мне показалось, что под усами у него скользнула улыбка.

– Не должно, – говорю ему твердо и уверенно. – Какая баня: вон Деникин до самого Орла дошел, а где он?

– Ну, а где он? – переспросил и Иван Карпыч.

– Да где, – кажется, теперь тоже в Крыму, а может, уж и в Лондон уехал. Когда его под Орлом-то стукнули, он по трем дорожкам покатился: одной на Одессу – там добились; другой – на Дон и на Кубань – там тоже в море спихнули; а третьей дорожкой он вот в Крым и пробрался... Теперь, надо быть, после разгрома в Новороссийске он и оттуда войска-то перебрал в Крым... Ну, да это все уж не то, что под Орлом... Да, поляки еще шумят, эти тоже... Ну пока что и там горя мало...

Я рассказал Ивану Карпычу всю обстановку, что сложилась у нас к тем дням. Он слушал внимательно, и видно было, что все понимал и многое запоминал крепко, отчетливо...

– Слушаю вот я вас, – заметил Иван Карпыч, – и вижу, что оно там как-то все по-другому идет. Не то, что у нас.

– А что у вас?

– Да что у нас? У нас, можно сказать, ничего – хулиганство одно да разбои. И больше ничего. И не было и нет ничего. Потому что всяк себе сам хозяин, а управы нет, он и делает, что хочет. Я все дела тут с самого начала знаю, потому что и в Верном бывать пришлось; и послушал – узнал немало со всех сторон; все знаю, еще как в семнадцатом году, когда правительство это керенское было, к нам сюда, то есть в Верный-то, два комиссара наехало: Шкапский да Иванов.

– Это от Керенского?

– Известно, от него. И сейчас же с казаками лавочку развели: там оружие, глядишь, отбирают, там налог какой-нибудь накладывают, али арестовывают; в тюрьму запихать – любимое дело. Ну, только киргиза – бей его, – он долго терпеть может. Привык. И прежде били и тут бьют – значит, терпеть до поры. А мужику што – ему какое ни дай правительство, только самого его не тронь. Так и терпели этих комиссаров, не трогали.

– А как же, – спрашиваю, – насчет Советской власти – было у вас тогда что-нибудь или нет? Советы-то были какие? То есть примерно, вот к Октябрю, в семнадцатом?

– Как же, были и Советы – где их не было, – ответил он с нескрываемой иронией. И остановился, чтобы дать мне почувствовать, что не зря подпустил тут яду. – Был рядом с комиссарами Совет рабочий, областной. Да разогнали его комиссары. И не то што, а двоих убили, так оно и тела-то весной только на следующий год сыскали. Потом крестьянский был Совет, тоже на всю область – его не тронули, побаивались, мужиков-то не хотели травить.

– А в Туркестане тогда уже были Советы? – спрашиваю я Ивана Карпыча.

– Ну как же, везде Советы, кроме нас, – и он снова иронически ухмыльнулся. – Только плохи больно, – добавил, чуть помолчав, – нам таких-то, пожалуй бы, что и вовсе не надо.

– Чем же это так плохи?

– Да тем, что бестолково за дело взялись, а лучше сказать – и никак не брались за него, только свои делишки выделявали. Кому тогда было в Советы идти: рабочий человек на деревне не пошел, все еще боялся... А пошел тот, кто по-своему понял Советскую власть: валяй, дескать, – наша взяла... И пошло... Тут комиссары даже казаков выставили сюда, на границу: не пропускать, дескать, в Семиречье никаких Советов...

– Так чего же, – говорю, – им было *таких-то* Советов бояться? Они же им были не опасны?

– Нет, зачем, – возразил Иван Карпыч, – они, комиссары, понимали, что хоть по началу-то и одно вышло, а по концу совсем другое может быть: никаких и ничего, словом – в Семиречье не пущать. Будем жить, как сами хотим, как сами знаем. Ну, и шло пока ничего. Тихо было. Только этот крестьянский Совет, съезд надумал в январе собрать, а комиссары: «Отчего ж, дескать, не собрать, коли на этом съезде мы со всеми крестьянами сговориться сможем, – валяйте, зовите». Ну, и наехали. Да комиссары еще тут же казаков на съезд со всей области и киргизов – то есть не на этот, а на другой, рядом, на особенный. Всех созвали. Приехало народу немало: на один крестьянский больше полтора человека.

– И все три съезда вместе заседали?

– Нет, зачем вместе, врозь – только в одно, значит, время, – пояснил Иван Карпыч. – Да и как им было вместе, когда казаки и киргизы одно, а крестьяне – другое...

– Ну, казаки, – перебил я его, – это еще понятно: они тогда были против крестьян, они друг дружке мешали местных обирать, а вот киргизы – их съезд – отчего он очутился с казаками?

– Как вам сказать, – задумался Иван Карпыч. – Я, право, вам этого не сумею сказать. Ну, я думаю, что прежде всего у комиссаров, у казаков ведь войско было, а по кишлакам не забыли еще расправу в шестнадцатом году: подпугивало. Потом, думаю я, что мужики-то все-таки покрепче насолили киргизу, чем казаки... Да оно, может, все и не так, как я говорю, – может, казаки просто на съезд согнали киргизских чиновников – по городам набрали: сойдет, мол. А чиновники эти, известно, навсегда со Шкапским заодно были – тоже Учредительное хотели устраивать. Так что не знаю, а все-таки получилось тогда, что все на мужиков ополчились... И несдобровать бы мужичкам – чего они сделают одни. А тут как раз солдат с фронту понаехало – то отсюда, то оттуда. Иной, глядишь, почти выходит, что и в самом Петербурге был: «Я, говорит, знаю, за что мы там, в Питере, дрались. Я, говорит, не позволю». Да што тут: одним словом, с фронту солдат наехал. Один уж больно делен был – Павлов.

– Из фронтовиков?

– Да. Этот ничего не боялся. «Долой, говорит, сукиных детей. Какое там Временное правительство, когда нет его давно. Какая там учредилка, когда ее разогнали. Дашь Советы, чего там!» Комиссары это видят, что дело неладно – марш на съезд к крестьянам. «Так и так, мы, дескать, властью поставлены и будем ждать, когда Учредительное собрание соберется, а Совет народных комиссаров не признаем – долой его». Тут атаман Щербаков: «И я, говорит, тоже, и казаки все со мной». Тут и киргизы, что на съезде были: «Мы тоже, говорят, за это же самое, что атаман». Что ты будешь – глядят мужики: все на них. Ну, только Павлов подымается. «Ничего, говорит, это нам не страшно, а я вам лучше расскажу, что теперь кругом по свету делается, что в Москве, в Ташкенте...» Да и зачал. Доклад. Целую речь. Ему было мешать, его прерывать, а съезд кричит: хочу слушать, да и только. И вот уж он накачал, так распарил всех, что, когда резолюции стали разные голосовать, мужики почти что все за Советскую власть: и чтобы ее по области устанавливать, и чтобы Красную гвардию свою – одним словом, загорелось дело.

– Иван Карпыч, – говорю я, – а чего же Шкапский-то с Ивановым смотрели, неужто они не могли ничего поделать – сила же вооруженная была у них?

– Ну, у них. Так что? – ничуть не смутился Иван Карпыч. – Сила силой, а крестьяне все-таки наехали со всех сел-деревень. Тронуть их – ну-ка, тронь. Поговорят, мол, разъедутся, – думали комиссары, – а там мы опять... То есть я думаю, что так они полагали, комиссары-то. Ан вышло не так. Съезд-то уехал, а оставил после себя опять свой Совет и Совету наказал: делай дело, а не спи. Вот они, советчики, и давай к казакам подсыпаться, а особенно ко второму Семиреченскому полку. Там ребята все были дошлые, молодые, сами на фронтах побывали, а офицеров своих не любили, – это как раз было на руку советчикам. Вот они дружбу с полками и завели. Кружок там свой устроили. А еще кружок один из отпускных солдат – тут и Береснев был, – этого знает все Семиречье.

– Жив?

– Жив, чего ему – такие-то долго живут... Он, ишь, командует где-то теперь... Да, так эти самые кружочки вместе с Советом и стали дело свое затрафлять на комиссаров. А в Ташкент послали двух делегатов: рассказать, как дело обстоит, и помощи просить на случай. Вот Ташкент и давай бубнить: телеграмму за телеграммой, одну за другой, знай, жарит по Верному да по разным городам. «Все население, говорит, должно принять участие и свергнуть Временное правительство, а ежели этого не будет, то в Семиречье будут посланы войска, и тогда не пеняй. А расходы придется платить самим же советчикам». Как их ни прятали, эти телеграммы да приказы, а знала их вся область. И побаивалась, дрожала насчет шкурки, насчет кошелька. И вот один раз на митинге, надо быть – второго марта, комиссары арестовали несколько ребят из этих кружков. Попал один и от Совета, Гречка. Эх, как полк узнал, эх, как зазвенел: «Давай, говорит, на тюрьму, ребята, сейчас же всех освободить!» И поскакали. Сначала к войсковому кругу – ан там прослышали, – сбежали. Они к тюрьме – да всех и выпустили. Тут примыкать рабочие стали, город осмелел, с вечера отрядами собрался да к ночи от дома к дому, – всех главарей-то и арестовали. А казаков, прапорщиков – этих всех обезоружили: молчат. Силы-то, глядят, и нету у них. А в эту ночь буря была снежная – прямо страх как по городу гудело! Ночь, хоть глаза коли, а они все скачут да бегают кучками. «Куда?» – «В казарму, а вы куда?» – «Мы на склад»... Прибежали к Шкапскому – нет. «Куда ушел?» – «Не знаем». Сюда-туда – нет нигде. Только потом на мельнице – глядь, он и фартук надел, мукой забелил, и шапку старую, пинжак и валенки, честь честью, – мельник настоящий. Тут его и сцапали, голубчика. А Иванов – тот половчее, в городе-то притих, запрятался, а потом и в Китай, в Кульджу, ушел – этого так и не достали...

Иван Карпыч остановился. Он говорил с большим воодушевлением и, видимо, устал.

– Ну, а дальше, – спрашиваю я, – как с властью: ревком создали, верно?

– Ревком, – сокрушенным голосом ответил Иван Карпыч... – То и дело-то, что ревком, да толку-то в нем – што было? Кто туда попал: у кого глотка шире была, тот и в ревком. Почитай,

всего пяток настоящего-то народу было, а то – у-у-у! – Иван Карпыч прорычал как-то неопределенно, давая знать, что тут было нечто вовсе не ладное. – Пока готовились да выступали – тут все молодцами были, а как только до дела случилось, как шариками варить понадобилось – кому? Пяток, говорю, не больше. А то все – черт-те што... И пошел кавардак...

– Ну, а чего же в Ташкент за помощью не обращались? Я думаю, там был народ?

– Как не быть: народу везде много, только работников вот не хватает, – заявил он поучительно и сурово. – Ташкенту – сейчас же телеграмму: переворотили, мол, – теперь помогай. А он прислал какой-то молодежи зеленой горсточку: «Больше, говорит, не могу, у самого нет ничего»...

– Значит, бедно?

– Ну, как же... Не деревня: самому работники надобны. Да, так это в Верном-то, – воротился он к оставленной теме, – пока там чесали затылки, а казаки знай себе съезды разные по уездам да подготовку ведут. Талгарская, Иссыкская, Большая и Малая Алматинская, Тастак – в этих гнездышках зашипели уж как следует: «Чего, дескать, робеть, коли не трогают?»

– А не знаете, – спрашиваю я Ивана Карпыча, – отчего и как началось самое восстание казачье: что оно – в Верном или со станиц поднялось?

– Кто его знает? Надо быть, со станиц, – отвечал он, – в городе-то собственно и не было ничего. Хотели хлеба из Талгару взять да из Иссыку, а Талгар верст тридцать пять от Верного, и казаки там – ой, как дружные: «Идите-ка, говорят, мать вашу так, откуда пришли, не то и наклеим, пожалуй». А вооруженные: свое было припрятано оружие. Да кричали-кричали, взяли и арестовали посланцев-то за хлебом. Арестовали и посадили у себя: пушай, мол, сидят, пока не скажут из городу, что хлеб боле отнимать не станут. А ревом, конечно: «Восстание!» И хоп туда отряд, – кажется, Щукин им командовал. Вот отряд, значит – с пулеметами, орудиями – ночью через обе Алматинки и пошел. Кто-то спирту достал, – шли навеселе, песни распевали. Казаки алматинские ловко разузнали, куда, зачем отряд идет, да как он только прошел – хоп галоп, и свой отряд создали на помощь талгарцам. А в Талгар скакунов с вестями умчали. Ждут талгарцы, приготовились. Вот и отряд подошел, свои требования Щукин поставил: освободить арестованных, выдать оружие, выдать зачинщиков-офицеров, которые все дело готовили и народ на смуту подымали. На это вам размышленья – два часа. А если не так – огонь из орудий, и всю станицу дотла снесут. Вот как! Прошло два часа, а казаки и не почесываются, все готовят силы, подтаскивают оружие, зарытое в земле, делят шашки, патроны, седла чинят на дело. «Так вы не хотите?» Молчат казаки. Бух-бух – два выстрела по станице из пушки. Видят казаки, что делу крах, прислали делегатов: «Погоди, мол, еще два часа, народ только собрался и будет сейчас все дело решать». Ну, отряд и притих: два так два. Сидят себе беспечно, покуривают, болтают, словно в лагерях, да и хватимши, к тому же... Ни сторожей, ни охраны какой – нет ничего, спокойны. Да не дремлют казаки-то, уж сбили они немалый отряд, на коней его посадили; тут и помощь от Иссыка подошла, вестник примчался от Алматинок, рассказал, что на помощь-де талгарцам и оттуда идет казачий отряд. Чего тут дальше дремать: «Гоп-гоп, ура!» Наскочили на отряд и давай его крошить, а эти ротозей и думать того не думали. Пришла беда отряду неминуемая, даже и сражаться путем не сумел, помчал во все стороны. А тем временем подскакали казаки с Алматинок. Што было крови да беды, – уж молчать лучше. Только тридцать человек со Щукиным в горы отбились, а то полегли али в плен попали... Так-то кончилась эта игра с горючим Талгаром. А тут с Алматинок, Тастака да с Каскелена – этот тоже верст на тридцать будет – казаки сомкнулись, город кольцом обложили. Ну, пропадай наш Верный! Да так точно оно бы и случилось, коли нашелся бы у них, казаков, воевода решительный, – взял бы он в свои руки все дело – тогда бы где уж Верному сдобровать! А казаки сдрейфили, каждый сам по себе, про свою станицу только и думает – настроили тоже своих штабов с каждого края. Оно, верно, штабов и в городе много было, – потом уж Махотин в один их уделал. В городе тут Мамонтов отряд собрал, – этот отряд худую

славу потом заслужил, черт знает во што превратился. И вот неделями стояли, боясь один другого: казаки думают, что в городе силы неисчислимо да орудья понаставлены на каждом углу, пулеметы; а городские отряды сидят да сидят – тоже робеют на рожон кидаться. Тут как раз из Ташкенту и подоспел Мураев со своим отрядом. По дороге к нему и в Пишпекке подлипали и даже от Токмака – человек всего до шести сотен набралось. Идти ему через Каскелен. Тут с казаками первая баня и разыгралась; те не выдержали, бросили станицу, ускакали. А Мураев – на Верный. И так был обозлен командир, что казаки на Красную Армию поднялись, приказал он для примера пленных целую дюжину расстрелять. Это были первые расстрелы по Семиречью. Содрогнулись станицы, деревни, кишлаки. Этого еще не знали. Страшно было всем по первоначалу. А когда война войной пошла, тут слушали кругом про расстрелянных, словно баранов там стреляли, а не людей: все привыкли – и в армии, и по станицам, по селам, и в горах. Только вот кишлаки дрожали дрожмя, да и было от чего: казакам да крестьянам хоть есть чем защититься, у них оружие попрятано да на руках, а у киргиза, у таранчинца – что? Нет ничего. Нечем ему и оберегать себя. Надо бы тут не дрожать, – конечно, робко было... Тут уж, когда Мураев пришел, война поднялась настоящая, тут уж покою не было никому.

– А вы не знаете, – спросил я, – каким образом первые-то месяцы войны проходили: как, кто и кого колотил? Вы где тогда были?

– А в том вот и дело, что этого я уж не помню, не знаю совсем. Я с той поры как раз уехал из Верного, и что там совершалось – невдомек мне. Говорили потом, сказывали не раз, да память на этот счет у меня не такая. Когда, куда, да откуда, да сколько винтовок, патронов – я уж этого никак не могу, напутаю непременно...

– Ну, так что-то-нибудь запомнили, – пытал я, раздраженный любопытством. Мне хотелось слышать про эти первые месяцы гражданской войны в Семиречье – по ним всегда можно определить и общее лицо самой местности.

В самом деле, припомните, как эти месяцы проходили в Москве, в Архангельске, на Кубани, – и вы поймете, что *так* и должно было произойти, что это характерно, что это неизбежно. Я допытывал. Но Иван Карпыч, видимо, не хотел плавать в слухах, – он говорил охотно лишь о том, чему был очевидцем или о чем слышал многократно и помнил твердо. Он отмахнулся общими местами.

– Што там было дальше, я, право, не знаю. Только с Мураева все началось – это уж верно. И тогда же казаки со всех станиц подыматься стали: одни на коня да за пашку, а другие с перепугу брали все свое барахло и трогались за полками, потом к Джаркенту, а то и в Китай уходили. И не одни казаки, с ними опять таранчинцы случились. Зачем они тут, я этого не знаю, но, видно, крестьяне их доняли крепко. И одну слободу таранчинскую, Чилик... до того разграбили-разбили отряды, что вовсе, можно сказать, ничего не осталось. И зверства, говорят, были никак не переносимые... Так Чилик и сожгли, разбили до основания, а жители – таранчи, – те с казаками ушли...

– И так по всем уездам этакая кутерьма была?

– Нет, зачем по всем: в Пишпекском и у Токмака покойно было. Верный, Джаркент и Пржевальск – тут вот самая волынка расходилась, а в двух уездах, в Лепсинском да Копальском, – там, можно сказать, и советской власти-то не было, там все еще хвостики от временного правительства оставались. В этих двух уездах казаки и собрались восстание новое поднять – ну, сюда сразу Мамонтова с отрядом двинули. А как был он в пути на Копал – глядь, казаки ударили на Джаркент и город самый захватили. Из Токмака с отрядом Павлову приказали идти, а из Верного – Мураеву, – обоим на Джаркент. Повернули и Мамонтова. Ну, раз так, все дело потушили скоро, казаков угнали; они в Кульджу ушли. Хоть и ушли, а опасность-то все равно ведь осталась, того и гляди наскочит снова. И молва тут пошла, будто казаки всех «хохлов», то есть крестьян самых, перерезать хотят... Вот и гляди. А эти на казаков тоже зверьями глядят... Ну, што ты, как трудно было, – махнул рукой Иван Карпыч. – Ну, ей-богу, спать вот

ложится, бывало, человек и не знает, встанет он поутру али нет: то и жди, что кто-то секанет тебе по башке – и нет башки, один остался, живи, как хочешь. Эх, времечко, эх, и времечко было! Теперь разве сравнить – там словно на битву и день и ночь ходили, то и знай, что голову сорвут... Ну и ну! Натерпелся народ, что говорить. Много вынес. Было бы только не зря. Вот что главное.

– Да, это главное, – подтвердил я механически, а самому все хотелось узнать что-то еще... Спать не клонило, да и едва ли усну – до зари оставалось недолго, а с первыми просветами мы решили ехать дальше.

– Вы говорите, – снова обратился я, – что казаки в Кульджу скрывались, а разве их там не разоружали?

– Зачем разоружать? Нет. Даотай – значит, губернатор этот кульджинский, – он с ними тогда ничего... Положим, и Мураев, говорили, ездил к даотаю, переговоры какие-то вел, да вышло ли что из этого, я и не знаю. Там еще, в Кульдже-то, консул старый русский сидел, от царя остался, – куда же ему деваться было, там и застрял, – да вместо того, чтобы на Россию дело делать, он против нее ополчился. Деньжонки, знать, были у подлеца, а с деньгами чего не сделаешь. Он на деньги эти и казаков-то содержал, помогал им, готовил, чтобы на Семиречье ударить...

– Ну, а с Мамонтовым что было? Его отряд куда девался после Джаркента?

– А его отряд, – отвечал тихо Иван Карпыч, – его отряд пошел, куда ему и сказано было: через Копал, весь Лепсинский уезд прошел, самые Тахты отбил у казаков, а их – в Китай. Только, сукины сыны, уж и свирепство нагнали, особенно насчет киргиз: как в степи попадет – ага, значит, разведчик, давай его сюда! И молотят как шпиона казацкого. Ну, после такого дела они, конечно, киргизы-то, все и подлинно казакам помогать стали. Эх, и отрядик был, вот панику нагнал на всех!

Я посмотрел на утомленное лицо своего собеседника, и стало мне его попросту жалко, и сделалось неловко, что так я его заживодерил, а решимости оборвать беседу, видимо, у него не хватало. Вижу, что делу надо конец подводить, хоть того и не хотел.

Иван Карпыч сидел молча, последние минуты он говорил уже чуть-чуть поохрипшим голосом.

– А ну, не спать ли пора? – обратился я к нему, стараясь придать голосу своему как можно более веселости и непринужденности.

– Што же, спать, так спать, – вздохнул он облегченно.

И через минуту, пожав мне руку, он ушел на свою половину. А я остался на крылечке. И как же теперь здесь было тихо! Как было жутко, торжественно в молчаливых горах. Кругом, словно с глубокого дна, я вижу темные, чуть различимые силуэты скалистых склонов, – они сливаются, перемежаются, пропадают так же внезапно, как внезапно выплывают из мрака. Теперь, глубокой ночью, и небо другое, не то что ввечеру оно густое, насыщенное, словно налитое полуночной свежестью, холодной испариной горных ручьев. Прекрасное высокое строгое небо. И оно еще выше от этих гигантов-скал, от этой чуткой тишины. Я вдыхаю свежий горный воздух, и так мне легко, так отчего-то все и просто, и ясно, и посылно, я чувствую себя здоровым, уверенным, на все готовым.

Прощай, Сюгаты. И старик отец, и ты, Иван Карпыч. Спасибо, что приняли так радушно, – это редкость по большому Семиреченскому тракту. Все чаще встречи наши были скандальные, шумливые, то с просьбами, то с угрозами. А тут, на-ко, дружно как, по-приятельски, пригласили!

Мы в две тройки покинули гостеприимную хибарку. И долго-долго еще видели, как на крыльце стояла вся семья Ивана Карпыча, и они глядели в нашу сторону, кивали головами, махали руками. Мы делали то же, оглядываясь ежеминутно из своих просторных ковчежных шарабанов. Горы нас разделили, станция скрылась из глаз. Возница-киргиз сидит неподвижно

на отрепанном облучке и журчит про себя не то песенку, не то рассуждает вслух торопливым речитативом.

– Кароши козяин, – вдруг обернулся он ко мне и с ухмылкой мотнул головой в сторону станции.

– Что?

– Хе! – усмехнулся он. – А, ну, ну... – и, чмокнув, ударил вожжами.

Я оживил без повторения в памяти у себя произнесенные им звуки и догадался, что возница говорит про Ивана Карпыча.

– Да, кароши, кароши, – поддакнул я, обрадованный, и зачем-то говорил «кароши», а не просто «хороший». – Кароши козяин Иван Карпечь...

И понял, что глупо мне ломать язык и уродовать слова, что говорить надо как следует.

– Эй, друг, – обратился я к нему полными, отчетливыми словами, – а чем он хороший человек? Что же, он помог тебе, что ли, чем?

– Кароши, – повторил возница не оборачиваясь, – хлеб кормит, хатын⁵ кормит, дети кормит... Кароши...

– А много у тебя детей?

– Дети многа... Все дети есь... Шеся человек...

– Ну, и голодно вы живете? Трудно?

– А кароши... хлеба... – повторял он только знакомые слова и никак не мог подобрать целую фразу. Но лишь только слышит знакомое слово, сейчас же быстро обертывается на облучке и с сияющим, торжествующим лицом усиленно кивает головой:

– Та-та, ай-та...

И сам улыбается доброй широкой улыбкой...

– А что твоя хатын делает?

– Хатын делат... хатын делат: мата⁶, – вдруг заявил он и оборвался, неуверенный – пойму я это или нет.

– Мата. Знаю мата, – снова сфальшивил я на падеже. – Мата хороший... Мата крепкий...

– А, мата, ай-ай... – и он высоко, в знак удовольствия вздернул кнутовище и, присвистнув по-особенному, как присвистывают только возницы-киргизы, ударил по лошадям. Кони побежали быстрее. Азан, так звали возницу, не раз еще высказывал мне свое удовольствие по разным исключительным случаям: в лужу ли засыплемся слишком глубоко, утки ли дикие подымутся в стороне, или навстречу покажется тройка, спускаясь по склону, – Азан отзывается на все живейшим образом: до всего ему дело, все его занимает и волнует и даже приводит в восторг.

Я заметил у него одну милую особенность: как только дорога раскалывается надвое, он непременно выбирает самую ухабистую и самую грязную, притом по ровному месту может ехать тишайшим ходом, а по ухабам так и норовит развить карьер.

– Ты что, Азан, зачем дорогу плохую выбрал? Видишь, там хорошо, – показываю я на соседнее ответвление, где, видимо, и суше и крепче грунт.

– Ай, кароши, – смеется он.

– Да не кароши, черт возьми, а плохо, даже очень плохо, – кричу я ему.

– Мякка... очень мякка, – тычет он кнутом в грязные ухабы.

Что ты станешь делать, приходится соглашаться.

Мы проехали мимо огромной болотины. Здесь то и дело подымались утки, недалеко прохаживались важно длинноногие цапли.

⁵ Х а т ы н – жена.

⁶ М а т а – особый, довольно грубый материал местного производства.

– Хай, хай... – покрикивал на них то и дело Азан, видимо, желая и нас позабавить, показать, как много тут всякого живья.

Ну, вот и подножье Курдая.

Этот гигант взгромоздился тут на пути и разрезал его на две половины. В теплые летние месяцы здесь по склонам горячий солнцепек, а вот зимой, когда гудит-бушует вьюга, к Курдаю лучше не подступаться. Тогда страшатся его даже привычные возницы-киргизы. На широком Курдайском плоскогорье, на его хребтине, такие разыгрываются метели, что дорогу не найти – нет ее, начисто заметет, и следа не сыщешь. Сугробы снежные движутся бураном и сюда и туда: в хрипах, и столах, и свистах горного ветра не слышен голос человеческий. Забудь о помощи, заблудившийся путник. Тебя никто здесь не найдет, не услышит в буйном буране и разве, на счастье, утром уж только откопают под высокими рыхлыми наметами снега!

Немало рассказывают здесь этих случаев, когда курдайские бураны хоронили опоздавших путников. И Курдая зимой боятся все: он может освирепеть неожиданно, закружить в одну минуту яростными вихрями.

От Сюгаты дорога все время в гору, – так семь или восемь верст, до перевала, где начнется широкое открытое плоскогорье. Когда мы тронулись в путь, вершины были скрыты в белых волнующихся простынях тумана. Но чем дальше – тем светлей и прозрачней горные просторы. И все свежей. У подножья, в котловине, там уже случается пробивающаяся травка, там весенняя размытая дорога, а вон, посмотри, эти близкие вершины – там серебрятся вечные снега. Горы словно играют с нами: подступят к дороге, нависнут, сожмутся и вдруг отскочат далеко-далеко, оставят на голой равнине. Вот начался крутой подъем. Мы слезаем с шарабанов и версты две идем пешком. Не только оттого, что коням тяжело, но и любо нам шагать по горной тропинке, следить, как она выскакивает на крутых поворотах, как теряется где-то высоко над головой, выглядывая обрезками ленты из горных извивов. Громоздятся одна на другую каменные громады, вырезаются остроконечные, изрезанные скалы, а дальше, там вон, в стороне, гладкие холмистые вершины, – знать, крепко оцеловал, облизал и огладил их горный ветер, срезал острые макушки своим жгучим, ледяным дыханьем.

Мы приближались к широкой нагорной равнине; она идет на двадцать верст до самого спуска, где под горою такая же крошечная станция, как Сюгаты. Эта станция по имени грозного гиганта зовется «Курдай».

Вот мы и на вершине. Снова забираемся в свои шарабаны, продолжаем путь. Здесь холодно. По краям дороги все еще снег, он заледенел, чуть держит человека. Но уже не везде остались снежные заносы: в иных местах, где ветер не пробьется меж холмами, картина похожа на весеннюю. Все-таки холодно здесь, крепко холодно, мы не зря поупрятались в шинели.

– Хай! – громко крикнул Азан и указал кнутом на поднявшуюся стаю уток. Мы следим, видим, как она опустилась над дальним болотом. И снова поднялась и прошумела к болоту.

Не вытерпел, прицелился, ударил в тройку, вспорхнувшую от самой дороги. Промазал. Но дружки меня успокаивают, что «упала», сами видели, как затрепыхала в болото...

Раздраженные таким искушением, мы с «кумом» соскочили, кинулись настом к болотине. Сначала, проваливаясь, бежали, потом крались на коленях, а там на животы легли, поползли: пугать не хотели. И снова стреляли – успех один! Потом условились, что полезно будет устроить облаву: я лягу на снегу, ружье наготове, а «кум» забежит стороной по насту и будет гнать всю стаю прямо сюда. Сказано – сделано. Я вижу, как его долговязая фигура качается на снегу, то и дело проваливаясь, подпрыгивая, удаляясь все дальше и дальше. Вот «кум» уж на месте. Он начинает смешно дрыгать руками, даже ногами, выкрикивать какие-то слова, начинает выть, кричать, улюлюкать: это он, видите ли, нагоняет уток, – примерно так же, как хлопотливая хозяйка загоняет куда-нибудь в угол расходившуюся курицу, – раскинув руки, парусом отхватив подол и выделявая циркули ногами. Вдруг «кум» завизжал неистово.

Утки действительно перепугались. Большая стая, штук тридцать, сорвалась и летела прямо на меня. Замерло сердце.

Ну, пяток – самое малое!

Вдруг стая, видимо, почуяв мою особу, повернула в сторону. И дальше. И я вижу только мелькающие черные точки: скрылись утки за косогором, пропали из глаз. А я все лежу живом на снегу и готовое ружье держу на взлете. По сверкающему насту, увязая и выскакивая, снова пробирается ко мне сутулая, крючковатая фигура моего «пугача-кума».

– Не попал? – задает он ядовитый вопрос.

– Попал, – отвечаю невесело.

– А где же?

– На том берегу, за болотинкой, поди-ка поищи со своим талантом...

Мы возвращаемся к шарабанам и уж целую дорогу про охоту ни слова. Да и в самом деле, рассуждали про себя, эка невидаль – охота! Словно про нее только и говорить, давай лучше о чем-нибудь другом.

Спутницы уехали далеко вперед, замерзли. Отбранив нас авансом, сколько полагается, они сели в переднюю кибитку и умчали одни, а мы теперь их догоняем, тщетно стараясь быть веселыми и тщательно заминая воспоминания о несчастной недавней охоте.

Лысый Курдай однообразен и скучен. Сухой пронизывающий ветер заставил нас укутаться в тулупы. Весна не весна, да и зимы нет настоящей; по морозному ветру вспоминаются январские холода, а дорога, бесснежная, заледенелая, крепится, словно капризными мартовскими вечерами. Кой-где непромерзшая жидкая каша, а по ложкам и ниже, за холмами, серый скучный незимний снег. Оледенелые снежные вершины, где нет ни лета теплого, ни зеленых трав, – это царство вечного холода и суровых буранов, – оно где-то в стороне. Издалека сюда смотрят серебряные хребты, словно завидуют Курдаю, что его пригрело солнце, что с него падают ледяные оковы, что из-под белого савана пробивается к жизни зеленое царство. Курдай оживал. Он еще боролся с последними, прощальными бурями, с ледяными ветрами, но уж властно и здесь и там давала себя знать и чувствовать близкая весна. По широкому однообразному плато мы трусим версту за верстой. Молчим. Уткнулись в высокие ворота баранных тулупов. На режущем, жгучем ветру кому же охота пускаться в разговоры! Вот и спуск. Отсюда до станции Курдай осталось всего пять-шесть верст. Вначале этот спуск так же однообразен и гол, как вся курдайская хребтовина. Но чем ниже, чем глубже в ущелье, тем ярче тона, неожиданней, прекрасней горные ландшафты. Кручи гор повисли с обеих сторон причудливыми громадами, они избиты, изрезаны, вымыты теплыми дождями, высушены, иссечены острыми горными ветрами; то взметнутся стрельчатыми шпильями, иглами, копьями, круто-ребрыми кинжалами, то осунутся куполами, гигантскими тумбами, беспорядочными горами разбившихся скал. А над скалами плавают любимцы гор, красавцы орлы. Парят медленно, величаво, торжественно, то пропадая за отрогами, то выплывая над ущельем, чернея в прозрачном, легком голубом эфире.

Навстречу по узкой дороге, в ряд, один за другим колышутся бурые невозмутимые верблюды; и на горбатой спине и на тощих, костистых боках навешаны узлы, понатыкана домашняя утварь: это караваном уходят семьи дунган из верненских степей. Впереди только вожатые – в цветных кафтанах, в широких поясах, на манер цыганских, в легких причудливых шапочках; они идут рядом с верблюдами и выкрикивают резким голосом какие-то незнакомые, непонятные нам угрозы. За верблюдами на повозках, запряженных лошадьми, – дукганки, молодые и старые, черномазые ребяташки с блестящими карими глазами. Красные, синие, голубые ленты, шарфы, пояса, юбки... Улыбаются нам с повозок и что-то кричат незнакомое, непонятное. Мужчины проходят молча, без звука, без улыбки.

Прошел караван. Дорога кружит по ущелью, мелькает чистыми, заново построенными мостиками, переброшенными здесь и там, ширится, все ширится, и, наконец, выплывают нам

навстречу зеленые гладкие купольные головы холмов. Это холмы по долине, они говорят о том, что кончились горы, что мы выезжаем в курдайскую равнину. Вот и холмы миновали, глянула знакомая белая мазанка почтовой станции.

Путь был недолог. Ждать здесь не стали. Перепрягли коней – и дальше. Теперь уж и до Верного осталось немного и хочется скорее-скорее туда. И мы глотаем станции одну за другой, не ждем, не отдыхаем: назавтра хотим быть у цели.

Помнится, в эти последние дни да и на станциях перед Курдаем приходилось все время вести жаркую перебранку с начальниками станций. Это был преудивительный и прегнуснейший народ. Почти сплошь такой. За исключением немногих. Помнится, в пути обогнали мы почтовые тройки. Приехали на пункт, ждать не стали – попросили лошадей. Запрягают. И когда уже все было готово, когда мы перегружались, чтобы ехать дальше, – подкатили почтовики и властно заявили:

- Ехать нельзя: мы едем.
- Позвольте, мы же первые приехали, – заявляю им.
- Ничего не значит. Почта прежде всего.
- Но у меня, посмотрите: «вне всякой очереди».

И показываю им мандат, где говорится, что по делам большой срочности и важности ехать надо *вне всякой очереди*. И слова эти даже подчеркнуты.

- Ничего не значит, это чепуха, – брякнул почтовик.
- Какая чепуха? – взъерошился я.
- Да так... Ну, нечего с вами болтать, – объявил он небрежно, – выкладывайте вещи, мы едем.

Тогда я к делу подскочил с другого конца.

- Грузу у вас сколько?
- Около тридцати пудов...
- А кто сопровождает?
- Я...
- А это кто такие? – наступаю я на почтаря и указываю на трех подозрительных субъектов, с ним приехавших и напоминавших по внешнему виду мелких торговцев.
- А они какое право имеют ехать? – кричу я раздраженно почтарю.
- Такое право, что со мной, – ответил он. – Да и что за разговоры – выгружайтесь!

А я уж слышал раньше, что почтовики в те дни спекулировали бессовестно: из Ташкента в Верный везли дешевый кишмиш, а из Верного, обратно – белую муку. Заглянул я им в повозки, ощупал, – вижу, совсем не почта – мешки кишмишу.

– Это что же такое? Ах вы, сукины сыны!.. Сейчас же документы! Я вам в Верном покажу кузькину мать!

Но почтарь был парень тертый. Хотя он и понял, что на тридцать пудов три тройки занять ему нельзя, все же попытался воздействовать на меня испугом:

- Нет, вы мне свои покажите... У нас закон... Я вас законом...

Мы записали друг друга и поклялись притянуть непременно к суду. Брань бранью, а мы все-таки сели и уехали. Почтарь поехал за нами, – не знаю, сразу ли достал он лошадей под мешки кишмишу.

Был и другой случай. Приехали.

- А ну-ка, приятель, нам лошадей...
- Нет лошадей, – отвечает сумрачно и вяло худосочный моложавый смотритель.
- Как, ни одной?
- Ни одной...
- Совсем пустой двор? – изумился я.
- Не совсем, тройка есть, да только пришла, упарилась, устала, – ее нельзя.

– А скоро ли придут новые?
– Не знаю, – отвечает он нехотя.
– То есть как же «не знаю», кто же знать-то будет за вас!.. Ну, хоть примерно, вы когда их отправили?
– А какое вам дело?! – оборвал он грубо.
Кровь ударила мне в голову.
– Что за хамское отношение? Что, вы не можете, что ли, отвечать как следует! – крикнул я ему, обозленный.
– Нечего отвечать-то, без вас все знаем, – ответил он, стараясь уйти в комнату.
– Нет, постойте, – останавливаю я, – вы все-таки скажите как следует... Вот мандат... Я еду срочно...
– А мне што за дело?
– Да, черт вас дери, мне-то это не безразлично!.. Скоро ли лошади ожидаются, спрашиваю я вас, и долго ли ждать?
– Не знаю, – ответил он на ходу и скрылся.
Я посылаю «кума» на разведку: осмотри все конюшни, проверь насчет оставшейся тройки.
Он через пять минут бежит возбужденный:
– Четырнадцать лошадей!!!
– Что-о?.. – не понял я.
– В стойлах на дворе четырнадцать лошадей...
Я побежал вместе с ним во двор и глазам своим не верил: по стойлам действительно стояло четырнадцать штук. Мы сейчас же в юрты к киргизам:
– Лошади давно стоят?
– Вчера ездил... – отвечают возницы.
– А сегодня не ездил? – спрашиваем.
– Нет...
– Все не ездили?
– Нет...
Разъяренный, несусь прямо к смотрителю и кричу на бегу:
– Это что за подлость! Саботажничать?!!
– Лошади устали, заезженные, – оправдывается он.
Ни слова не говоря, хватаю негодяя за шиворот, трясусь, как собачонку, и, не в силах сдержаться, рычу:
– Ах ты, сукин сын! Если через десять минут не будет лошадей – пашкой по башке!!!
Через десять минут лошади готовы. Но прежде я составил протокол. Оказалось, что смотритель из семинаристов, сын попа. В Верном я отдал протокол в почтовое отделение, а копию – ЧК, судьбы не знаю.
Где ты, семинарист? Помнишь ли свой саботаж и заслуженную встряску?
Едем дальше. О, ужас! На следующей станции почти буквально то же.
– Нет лошадей.
– Ни одной?
– Шесть больных, больше нет...
Мы сразу в конюшни. И что же: вместо шести больных... семнадцать здоровых! Расспросы киргизов-возниц разъяснили дело.
Я подлецу показал дулю нагана.
Через десять минут мы уезжали.
С такой шпаной мы до полусмерти измучились за долгий шестисотверстовый путь. Потом в Верном смеялись местные ответственные работники:

– Вы один раз проехали, да устали, а мы тут с ними все время маемся. Шпана на шпане. И саботажники. А заменить некем, – вот пока и миримся.

Станция за станцией, скандал за скандалом, – мы близимся к Верному. Навидались теперь мы всяких видов, насмотрелись диковин, наслушались слухов, рассказов и смутных догадок.

На место приехали совсем не новичками: за долгий путь чего-чего не увидели, не услышали, не узнали!

А вот и Каскелен – последняя станция перед Верным. Станем ли ждать, когда не осталось и трех десятков верст! Скорей, скорей! Довольно дорожных мытарств и бесплодной глупейшей брани с почтарями и зрителями. Мы катим по шоссе. Нервничаем. Ожидаем, как он покажется, Верный. И где-то вдруг вдалеке мелькнули церковные куполы и кресты, потом стали видны окраины города, вырисовывались отдельные домики... Ну, здравствуй, Верный! Здравствуй, пока чужой, таинственный город, о котором мы так много слышали и которого совсем-совсем не знаем. Как ты встретишь нас? Как мы станем работать? Ты – центр огромной области. В тебе бьется сердце жизни полуторамиллионного населения. Много кружили мы за гражданскую войну: по Уралу, по самарским степям, по уфимским горам... и все эти центры: Урал, Самара, Уфа – это целые полосы жизни. Каждая имеет свою особую печать, свое лицо. А ты, новый наш незнакомец, какое будешь иметь лицо? Как развернется здесь наша работа? Сумеем ли понять обстановку, войти в круг вопросов и в дружескую, тесную семью работников? Неужели интриги, зависть, склоки ожидают нас вместо горячего труда? Нет, нет, не надо! Мы верим, что расправим здесь крылья, размахнемся в плодотворной творческой работе, обнажим и отдадим все, что накопилось, что было скрыто, что прибавилось за эти годы и что надо непременно израсходовать, отдать куда-то вовне, с кем-то поделиться накопившимся опытом, разрядиться в новой, пока неведомой работе.

Так здравствуй, новый труд на новой ниве! Мы любим тебя в новой обстановке, в любых условиях. И всегда готовы отдать тебе всеми знаниями, всем накопленным опытом жизни, всем пылом молодости, всей горячей верою в нашу победу, в нашу непременно победу!

II. В Верном

Вот мы и в Верном. Я знаю, что здесь председателем областного ревкома мой товарищ по Самаре, Юсупов. Дашь Юсупова! В чужом месте, особенно в такой глуши, какая это радость – найти с первого раза старого знакомого. Может быть, он, этот старый знакомый, и будет чужд тебе наутро же; быть может, скоро-скоро найдешь ты здесь новых друзей, отличных товарищей и, вместо старого, к ним, к новым, привяжешься, но это потом. А теперь – сразу к старым знакомым!

Мы подкатили к ревкому: рослый стильный домина по главной улице. Он на углу выпирает круто вперед, кидается в глаза. Еще и не зная, что это за дом, мы поняли, что он должен быть ревкомом.

Дружеская встреча, охи-ахи, радостные восклицания, торопливые обещания работать дружно, в контакте...

– И работы так много... Непочатый угол... И некому браться... Работников нет... Беда...

Он проводил до ближних Белоусовских номеров, где жил сам, где и для нас все готово. Правда, не сразу было добыто хорошее жилье, – первое время околачивались довольно сараисто и грязно. Но это не в счет.

– Как к делу приехал, ах, как к делу... – приговаривал Юсупов.

– Что такое?

– Да как же: у нас тут уездный съезд Советов... И надо доклад... О самом новом, о последнем – политический... Ну, раз из центра – твоя обязанность рассказать нам все, что было, и есть, и будет...

Я и не подумал отказываться. Да это и в самом деле отлично: сразу окунуться в здешнюю жизнь, в работу, интересы, вопросы, нужды, – что за блестящее начало!

Набит до отказа городской театр. Зрелище диковинное. Обстановка невиданная. Как будто и все здесь, словно у нас, – где-нибудь в Иваново-Вознесенске, Вичуге, Тейкове: за столом, на вышке, президиум клонит головы над пустыми листами бумаги; позади, у стены, пристолонены знамена, и на этих знаменах все те же могучие крики:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Путь борьбы и труда – это путь освобождения».

«Да здравствуют победные полки Красной Армии!»

«Да здравствует Красный Интернационал!»

Багровеет бархат, щекочет золото гигантских букв, массивное древко уперлось упорно в заплыванный, заброшенный, затоптанный пол. Табачный дым густыми облаками ходит поверх голов. Лица серы, желты, бледны, матовы... Голоса сухи, трескучи, словно лучина, или глухи, сиплы и хриплы: сегодня последний день съезда, выговорились все до омертвления. Все-все, как там, в далекой России, на фабричных дворах, в сальных прокопченных столовых, где мы в семнадцатом году из господских салонов изъятый бархат и шелк перекраивали в ало-багровые знамена и писали зычно:

«Долой десять министров-капиталистов!»

Но глянь по изголовьям: вместо рабочих кепок – то чернополая шляпа, то увесистая шапка, картуз крестьянский, то целая баранья шкура или белая долгая простыня, замотанная так хитро и ловко – национальный головной убор. А вместо тужурки, пиджака – глухо запахнутые теплые шубы, зипуны, киргизские ватные цветные халаты... По рядам говор – удивительный, ни одним словом не знакомый. Что он, этот говор: про радость, довольство идет или зло потешается, проклинает, каркает беду?

Не знаем, не знаем, ничего не поймем.

А приходит урочный вечерний час, солнце обходит положенный круг, и эти делегаты, члены советского съезда, собравшиеся решать и выбирать пути в царство социализма, падают ниц и молятся восторженно, будто загипнотизированные, своему неведомому богу, воздевают руки, гладят себя по лицу, шепчут какие-то невнятные звуки молитвы. И снова слушают доклад. Потом перевод. Потом споры. И сами вступают в спор. И будут доказывать, убеждать, воздевая руки, бия себя в грудь, восторженно, пламенно, сердито.

Не поймешь... И стыдно, и жалко, и больно оттого, что не можешь понять эту вот сочную, такую нужную, важную речь; в ней подлинное, в ней жизнь, сегодняшний день. Его надо знать, иначе немислимо работать. А его не знаешь.

И не узнаешь. Потому что немислимо *перевести*, рассказать пламенную чужую речь. Переводчик всегда лишь *осведомляет* о том, что ему надо перевести. И от этого осведомления не остается почти ничего. Все пропадает. Живое, нужное, серьезное слово – уплыло. И мы от этих первых неожиданных уроков вешаем голову.

Кончатся речи. Уйдут делегаты в зал, по коридорам, сомкнутся у дверей – и снова о чем-то горячо толкуют, спорят. Волнуются о важном. Кричат. Потрясают кулаками, грозят... Кому? Нам или врагу нашему? Мы даже и этого не знаем. А речи, крики так громки, так волнующе свежи, так увлекательны неподдельной искренностью! Мы знаем одно: здесь, по Семиречью, главная сила – националы. И не столько татары, дунгане, китайцы, таранчи, сколько киргизы. По киргизским кишлакам вся советская глазная сила. Там, в них, – будущее советского Семиречья. И знаем мы еще, что по кишлакам киргизским мало у власти бедноты. Больше манапы, баи, тузы-богатеи, знатные господа киргизские. Только кой-где, почти случайно, на редкость, в совете кишлачном заседает трудовик, бедняк киргиз...

Вот они, делегаты киргизские, – в цветных чалмах, цветных халатах; дородные, упитанные, с незнакомо-замкнутыми лицами, странными, непонятными жестами, чужой, незнакомой речью... Они из советских киргизских кишлаков. Но что они думают? Чего хотят? С чем согласятся, на каких пределах и где, за какими пределами они восстанут как открытые враги?

Нам мучительно трудны эти коренные, самые важные вопросы. На них ответа нет.

А кулацкая деревня, сытая казачья станица, – они тоже прислали сюда не нашего комбедовского мученика, не безлошадного, безземельного батрака, не измышленного помещиком беззащитного, полуголодного испошника. Нет таких. Здесь казаки – исконные. Да к тому же станицы казачьи будто в опале: не милует, не жалует, не любит их победительница – кулацкая деревня. И казак сердит на деревню. А с деревней – на Советскую власть, потому что *деревня* создала здесь Красную Армию и деревня прихлопнула казачьих атаманов: Щербакова, Дутова, Анненкова... Только немногие из станичников, все переборов и все переступив, знают, куда идти, за что бороться, где правда, где верная победа. Но этих мало. А коренная станица – терпит, но не любит – ох, не любит – Советскую власть! Мы и это знаем.

Вот они – делегаты кишлаков, станиц, деревень...

И каждый по-своему – друг и недруг советскому, большевистскому, новому...

Мы насторожились. Чувствуем двойственность. Еще не знаем, что и как станем делать в этой новой, своеобразной, трудной обстановке.

Знамена ало-багровы; солнечным золотом горят беспокойные лозунги; так же, как в родных рабочих центрах, здесь встанут и стоя поют «Интернационал»... И резолюции принимают: бороться... трудиться... строить...

Все, все – как там... И в то же время мы с первого дыхания чувствуем, как глубоко отличны эта обстановка, эта среда, это пение, эти лозунги, эти принятые резолюции. Надо быть осторожным...

Последний день съезда. Сейчас поручают сделать доклад... Что ж: идет.

О чем ином тогда было говорить, как не про новый курс, новые задачи нашего хозяйственного строительства... ЦК еще задолго до партийного съезда, то есть до 27 марта, опубли-

ковал эти тезисы. И в центральной России каждая крошечная ячейка обсуждала их, искренне горячася, шумно радуясь, и повсюду – с острым, глубоким, крепким пониманием великих задач, намеченных здесь на близкое и дальнее время. Вот Туркроста эти тезисы размножил на серых тощих листочках и по Туркестану. От себя добавил:

«Особенно тщательно наши хозяйственные задачи должны обсудить коммунисты Туркестана, где борьба на хозяйственном фронте только начинается...»

Мы смотрим на этих делегатов и думаем:

Пункт пятый... «От централизма трестов к социалистическому централизму»...

Большой, серьезный пункт тезисов. Но что до него *практически сегодня* – этим семирекам, у которых нет ни заводов, ни фабрик, а одна только пашня, косяки степных кобылиц да пастбища поднебесных гор. Нет, на этом пункте застревать нельзя... Другой, седьмой.

«Выработка форм социалистического централизма»... восьмой, десятый, пятнадцатый -

«О ремонте паровозов и постройке новых».

Нет-нет, тут только пару слов, мимоходом, самых общих, а весь доклад построить, быть может, даже и не на главном... пусть, но оно ближе, нужнее *здесь теперь*.

Говорить здесь о «мобилизации индустриального пролетариата» не то что вредно, а попросту не нужно: слова останутся словами, толку от них ни на грош.

Тезисы – одно, а как их разъяснить *здесь* – это статья особенная.

И доклад построен был под Семиречье.

«Устанавливаются с удовлетворением бесспорные признаки подъема воли к труду в передовых слоях трудящихся»... – так начинались тезисы. Да, на этом полезно сделать остановку. Здесь можно сказать хорошие, нужные слова о превосходстве организованного коллективного труда над разобщенным, частным, случайным.

Потом – о трудовом соревновании. Этот вопрос в ту пору был и нов и свеж. Он взволновал глубоко, открывая новый путь, новую форму, новую подмогу.

Когда говорили об областных хозяйственных органах, о том, что «областные бюро должны иметь широкие полномочия в области непосредственного руководства местной хозяйственной жизнью»... – неподдельное оживление зашелестело по рядам, каждый понял по-своему – как *ему* любо – эти «широкие полномочия»: окраины всегда особенно охочи говорить и думать и спорить о своих полномочиях, – этой любовью, разумеется, пылало и глухое Семиречье... Говорили мы дальше и об участии масс в управлении промышленностью, и о спецах, и о ремонте паровозов, но мало: три четверти съезда – уж никак не меньше – в жизнь свою не слышали фабричного гудка, паровозного свистка, не видели ни вагона, ни шпал, ни рельсов... Зато все силы были собраны, все знания, весь опыт и умение – все было пущено в ход, когда прозвучали роковые для Семиречья слова одиннадцатого тезиса:

«Собрать путем высшего напряжения сил продовольственный фонд в несколько сот миллионов пудов».

Мы уже знали, что тут, на месте, никакие приказы о разверстке не помогали, что все сборы кончались пустяками: хлебное, сытое Семиречье мало думало о голодных городах, об изморенных деревнях республики.

Сытый голодного, воистину, не понимает. Гудели уныло на скамьях делегаты: хлебные жертвы им были не по сердцу.

А дальше – вопрос о трудовых армиях. Этот вопрос жгуч и злободневен: армия Семиречья переходит на положение трудовой. Как будто слушают и внимательно, а согласия, одобренья на лицах нет. Учтем. Через «субботники» (тут – улыбочки, усмешечки) – к концу: Первое мая!

Надо «превратить международный пролетарский праздник Первое мая, выпадающий в этом году на субботу, в грандиозный всероссийский субботник...»

Выслушали. Согласились. Одобрили. И спели потом «Интернационал». Но все это чуть-чуть не то... Мы выросли в ином краю, мы привыкли, чтобы и говорили, и слушали, и понимали по-иному... Мы чувствовали себя учениками...

В номерах Белоусовских с первого вечера мы себя чувствовали как старинные завсегдатаи; годы гражданской войны, метанье по фронтам, быстрая, часто внезапная смена мест, людей, обстановки – все это приучило смотреть на себя, как на песчинку огромных, гигантских валунов, которые ходят, вздымаются, мчатся из края в край по просторам пустыни... И везде тебе, песчинке, плечом к плечу касаться тысяч других, таких же, как ты, везде валуны одинаково тяжки, везде их взлет одинаково рьян, и дик, и страшен, везде тебя, песчинку, будет жечь все то же раскаленное добела солнце... И что тебе жалеть? К чему привязаться? Что дорого тебе вот здесь, на сотой, пятисотой, тысячной, десятитысячной версте? Не едино ли близко, не едино ли дорого? Только бы не отбиться. Только бы вместе. Взмёт – во взмёт, полет – в полет, паденье – в паденье, – но, разом, вместе, под одним ударом!

И мы, песчинки, привыкли так же быстро, легко родниться с любой обстановкой, как легко могли ее и оставить, бросить, забыть ради другой, в которую помчали волны разгоряченных валунов... Номера Белоусова. И точно такие же были у нас – на Дону, на Урале, в Грузии, на Кубани, в Сибири, по Украине, – где их не было. У каждого в своем месте – и по многу раз.

А потому нет для нас никакой разницы, нет нового, особенного, отличного: мы здесь, как и там, – у себя.

Худенькая, тихая больная женщина, годов сорока, с птичьим изморенным, бледным лицом, то и дело снует по коридору, – это Таня, коридорная прислуга. И мы сразу с нею все подружились, одарили ее кишимшоом ташкентским, наши девушки и женщины сунули ей кто юбку, кто кофту лишнюю. Таня ставила нам самовары, с первого вечера стала нашим другом.

В номерах Белоусовских оживление чрезвычайное. По грязному длинному коридору, где вместо дорожки-ковра болтается под ногами нечто вдрызг измоченное и изодранное, снуют знакомые и незнакомые лица. То халат мелькнет цветной, то пестрая «тюбетейка», прошелестит тихим восточным походом куда-то в дальний номер киргиз – чей-то гость или товарищ.

То появится Лидочка и спешит-спешит легкой, воздушной, подпрыгивающей походкой, будто и не идет она, а летит, чуть носками касаясь земли...

Рубанчик – этот вечно в суете и торопится: и разговором, и походкой, и жестами, – ему всегда мало времени. Выскочит из номера, как очумелый, и несется вон – без фуражки, без пояса, обгоняя идущих впереди, едва не сбивая встречных. Он торопится всего-навсего в номер к Ионе, – и тот его, словно ушатом ледяной воды, окатывает своим эпическим спокойствием, какой-то олимпийской медлительностью действий, своим ясным, тихим, умным взором, медленной, покойной речью. У Рубанчика глаза прыгают, мечутся, искрятся, сверкают от беспокойства, а у Ионы под стеклышком, словно огоньки далекой деревушки, ровным, немигающим светом лучатся покойные круглые зрачки. Рубанчик – весь суета и трепыхание петушиное, у него ни рука, ни нога минуту не продержатся спокойно, а Иона может часами почти недвижимо оставаться на месте и думать, обдумывать или спокойно и тихо говорить, спокойно и многоуспешно, отлично делать какое-нибудь дело... Глядишь на него, и представляется: попадает он в плен какому-нибудь белому офицерскому батальону, станут, сукины сыны, его четвертовать, станут шкуру сдирать, а он посмотрит кротко и молвит:

– Осторожней... Тише... Можно и без драки шкуру снять...

И все-таки Рубанчик и Иона – хорошие приятели. Каждый другого любит за то, что он не похож на него самого. А еще за то, что каждый другого испытал и знает на работе, отличные, трудолюбивые, честнейшие ребята. Домчится Рубанчик к Ионе, а тут Лидочка подоспеет, – завязалась беседа.

Отеческой походкой подойдет, снисходительным баском поприветствует всех сидящих, дважды улыбнется, трижды похлопает себя по коленям и станет авторитетным, почти резонерским тоном убеждать и доказывать – Альвин. Он желт лицом, худощав и сух; по всем приметам, слабосилен и немощен, а живуч, как кошка, и все походы выносит без всяких заболеваний. С громом, грохотом и протестами неведомо на кого и за что врывается в комнату Мутаров, лихо на бегу срывает запотевшее пенсне и с остервенением протирает его не первой свежести тряпичкой, обзываемой в шутку носовым платком. Специальность Мутарова – делать беседу беспокойной и воодушевлять своих собеседников, волновать их и озадачивать сотнями вопросов и сомнений, которые, подобно несметным тучам звонкого комарья, постепенно кружатся у него в голове, не давая покоя.

Непременно постучит дважды в дверь и войдет спокойно, с трубкой в зубах, с иронической улыбкой на мясистых, тяжеловесных губах, потряхивая лохматою гривой черных кудрей, меланхолический философ Полин. Он имеет способность «абстрагировать» всякий факт и частный вопрос, – он их всегда возводит до «общего... целого... основного»... С ним беседовали и спорили чрезвычайно охотно, но лишь с одним постоянным и неизменным казусом: от общих рассуждений кувыркали его безжалостно к живым и частным, более мелким и понятным фактам повседневной действительности.

Редко спорил, много молчал, ум копил у нас на глазах юный, женообразный Гарфункель. Через год в Фергане поймали Гарфункеля басмачи, долго пытали, потом пристрелили, а труп закинули в волны реки.

Верменичев был новичком в нашей среде – он пришит был ко всей компании только в Ташкенте, не вынес трудов самарской работы, не выстрадал долгого, месячного пути через киргизские степи, через Аральское море, – он был новичком и лишь позже сблизился тесней со всей компанией. С нами всеми была и Ная, – она заведовала потом театральными делами дивизии: по специальности. Нельзя забыть и про Алешу Колосова, – он был едва ли не самым юным из всех. Мы любили его за чуткую отзывчивость, свежую искренность, за горячий нрав и ясную голову: он, пожалуй что, на следующий день по приезде сел писать нечто вроде «популярной политической экономии». Алеша, написал ли? Потом он создал отличные партийные курсы и руководил ими до самых трудных дней, до мятежа, да и после того не сразу выбрался из Семиречья.

Эта компания недаром прикатила в Верный. Одни со мною, другие – через две и три недели, пока не закончили в пути порученного серьезного дела. Отличительной чертой нашей компании была глубокая товарищеская солидарность. Ни начальников, ни подчиненных по существу не было и не чувствовалось. Особенно здесь, в Семиречье, где мы сознавали себя как-то особенно близкими друг другу, как-то по-особенному крепко спаянными. И вопросы все решались не то что «коллегиально», а попросту, сообщая: они прояснялись уже в наших беседах, частных товарищеских беседах, которые велись по вечерам, и когда надо было писать ли приказ, составлять ли инструкцию, разрешать ли затруднение, – налицо было совместно, коллективно продуманное мнение, и оставалось его только оформить, высказать, написать. По положению уполномоченного реввоенсовета, мне приходилось возглавлять эту рабочую группу, а равно и то учреждение, в котором многие из нас стали работать: «Управление уполномоченного».

По положению, мне приходилось подписывать единолично все приказы и распоряжения, вести разговоры по проводу, давать телеграммы, отсылать доклады, вести переговоры... Но уже теперь надо запомнить, что это только *по виду*, с внешней стороны, были действия единоличные, – по существу они представляли собою результаты наших официальных или неофициальных совещаний и бесед. Так было и в дни мятежа, разразившегося через месяцы, – и там документы, которые стану приводить и под которыми стоит мое имя, надо принимать лишь условно, не напрямик: имя – именем, нельзя же расписываться целой ватагой. Но когда надо

рассматривать самые факты, действия, не надо упускать из виду, что *решения* были совместными, – одному немислимо было бы вместить, успеть и овладеть всею массою трудностей, которые тогда на нас свалились...

Но рано, рано спешим вперед, – вернемся к оборванному повествованию...

Мы кружком обсуждаем, что делать: в новой обстановке, среди новых людей, по совершенно новым заданиям... И что это за задания.

«Упол...но...мо...чен...ный»?..

На что мы были здесь уполномочены? В мандате общими словами указывалось на «политическое руководство», на помощь военному строительству в раскинутой здесь 3-й дивизии и областном военном комиссариате, на непосредственное руководство их повседневною работою... Мандат, разумеется, не может говорить точное. Надо самим, на месте, вершить трудные вопросы. И мы думаем, думаем, думаем...

Совещаемся, толкуем не вечер и не два, освежаем и оплодотворяем друг другу мозги новыми сведениями, материалами, чуть блеснувшими соображениями. Уже вырисовывается общий план большой работы, все более четки, рельефны живые его контуры, становится чувствующим это важное и основное, ради чего мы здесь и на что должны отдать полностью свое умение, свой опыт, свои накопленные знания...

Зашумели здоровым шумом Белоусовские номера. Здесь заработала теперь какая-то новая машина, которой не было до приезда всей группы из Ташкента. И эта новая машина своими зубьями, своими крючками, своими колесиками скоро коснулась и зацепилась за все живые и крепкие места старой, издавна работавшей здесь машины, объединила с нею свои действия, взяла на себя какую-то невидимую, но значительную долю общей тяжести, разделила с нею нелегкое бремя, и день за днем – все глаже, все согласней, все легче и успешней развертывалась совместная работа.

Надо было сразу, с первого же дня, сделать нужные шаги, принять меры. Осведомиться. Осведомить других. Прощупать почву. Заявить о себе. Об одном услышать, о другом догадаться, третье почувствовать, чтобы, когда надо будет речь да совет держать, не хлопать бессмысленно глазами, тщетно заверяя, что все отлично знаешь, превосходно понимаешь, во всем без запиночки разбираешься...

Прежде всего необходимо поучаствовать в собраниях, заседаниях, совещаниях, где объявилось бы чистоганом лицо области: без прикрас, открыто, со всеми язвами, со всеми перспективами, как бы трудны и тяжки они ни были.

Второй шаг – это получить возможно быстрее различные документальные материалы, доклады, отчеты, где говорили бы за себя цифры и факты, – под их перекрестным огнем освещаются ярким пламенем все основные вопросы, все главные нужды.

Третьим шагом станет фактическое ознакомление с работою дивизии и военного комиссариата; надо будет прощупать их сверху донизу, коснуться и политических отделов, и казарм, и семиреченских военспецов, глянуть – что за народ.

Как только верхушка будет обследована, надо торопиться на места: узнать, воочию узнать, что там творится по бригадам и полкам, по всем гарнизонам, по мелким и крупным пунктам. Понять: одинаков ли пульс, той ли работою заняты сверху, какая настойчиво потребна на месте, где пределы возможного, где просто трудность и где подлость, лень, разгильдяйство. Ознакомиться самолично. Да и с собою ознакомить тех, которые будут помощниками в нелегкой своеобразной работе. Тогда легче. Всегда легче работать, когда знаешь в лицо, а не голое имя словил по ветру.

И вот когда на ладони будет работа верхушки и низовых ячеек, лишь тогда можно будет построить серьезный и практический общий рабочий план. Тогда будет меньше ошибок, чем теперь, с кондачка, на «ура».

План надо будет сообщить центру. И ежели там одобряют, согласятся – во исполнение его добиваться полочки всяческого материала, всяческой подмоги.

Постоянные доклады по системе еще значительней облегчат выполнение плана.

Уж конечно, вся эта работа проводится, и все эти планы строятся при ближайшем ознакомлении с работой органов партийных и советских; установление с ними немедленной и деловой близости является первейшим и необходимейшим условием, без которого и шагу не ступи.

Большим самостоятельным вопросом встала задача с переводом армии на трудовое положение. Эта задача не была, конечно, только военной. Это была такая большая задача, для решения которой объединилась вся область.

Потом на очередь выплыл новый значительный вопрос: прощупать почву для созыва областных съездов, совещаний и конференций военных комиссаров, может быть, культпросветников, контрольно-хозяйственных советов... А потом, быть может, где следует, поставить на очередь вопрос и о съездах – казачьем, молодежном, женском, учительском... План все разрастался. Захватывал области, которые, казалось, были совершенно чужды, далеки, вне круга вопросов, решать которые мы непосредственно были призваны. Но невидимые нити роднили нас и с необходимостью съезда казачьего, и учительского, и всякого иного... Мы чувствовали и здесь родство, тесную близость с нашими особенными, казалось бы, *специальными* задачами.

Поднялся во весь рост огромной важности вопрос о политическом просвещении области. Формально это, конечно, вовсе не наше дело, – ведать этим делом надлежит другому органу. Но мы ставим вопрос о создании целого ряда курсов, потом о газете, сотрудничестве. О чем, о чем ни подумали, за что ни приходилось братья! Дело делалось то в обкоме, то в ревкоме, то у нас в управлении, – мы ко всем этим органам были тесно припаяны.

Месяца через два будут созваны партийный и советский съезды Туркестана, наша задача участвовать активно в их подготовке, в созвании и проведении съездов областных...

Всю эту груду вопросов разрешить и в жизнь проводить надо будет через ближайших и дальних помощников, а потому: гляди в оба, увидь, пойми, почувствуй, кто тебя окружает, здесь переставь, там устрани, здесь замени, но так строй аппарат, чтобы он работал без перебоев. Подобрать работников – задача первостепенной важности.

Так и такой мы составили план: участвовать активно в каждом деле, которое близко или отдаленно прикасается к нашим основным задачам.

Но как и всякому плану – а особенно в те годы, – нашему плану пришлось пережить глубокие изменения: и в отношении полноты осуществления каждого пункта, и в отношении очередности, смены их, последовательности, и мало ли в каких еще отношениях и смыслах. Но многое выполнить все-таки удалось, – и это было оправданием нашей работы в Семиречье.

Случилось так, что в этот же вечер, когда делался на съезде доклад, в день приезда, в областном военно-революционном комитете было заседание. И уже на этом заседании удалось проникнуть в частичку семиреченских нужд, семиреченского злободневья...

Первый, кого я там встретил, был Мамелюк, оскомпродив – особый комиссар по продовольствию дивизии. Он стоял у телефона и резким, внятным тоном сообщал:

– Я – Мамелюк. Ну?

И, выждав, пока там в чем-то оправдывались, крыл отважно и авторитетно:

– Черт вас знает, что у вас за голова – соломой, что ли, набита!.. Я уже говорил...

И он повторил некое распоряжение, отданное некоему помощнику, видимо, накануне.

Мне понравилась его чистая, авторитетная, ясная до мелочей речь. Чувствовался умный человек и практический работник. Первая мысль скользнула: «Делец. Пальца ему в рот не клади».

Рядом на стуле сидело и пыхтело грузное, рыхлое существо, по фамилии не помню, кажется, Пацынко, – это помощник Юсупова, председателя ревкома.

Пацынко сер и скупен лицом, вял движениями, голосом глух, скуп на живые, на свои мысли, – полная противоположность стройному, гибкому, словно джигит, энергичному Мамелюку, у которого каждый мускул играет и заявляет, что живет полным напряжением, неутоптанной, полной жизнью. Маленькие, прищуренные водянистые глазки Мамелюка некрасивы, но в них неугасимое волнение, постоянная мысль и тревога, а в широко открытых бараньих глазах Пацынко – пустыня бессмыслия, святая и глуповатая безобидность и тусклая скука.

Неслышной походкой, будто крадучись по стене, прямо к Юсупову подошли два товарища с ярко выраженными туземными чертами лица. Это были, кажется, Садыков и Джарболов. Облокотившись на стол, они что-то торопливо сообщали, и на лицах отражалось то сомнение, то болезненно-острое неудовольствие, когда Юсупов начинал отрицать и доказывать другое, видимо противоположное... Бросалась в глаза какая-то неловкость, неуверенность движений, – позже эту неуверенность почувствовал я у них и в словах: говорили, убеждали, а выходило, будто и сами еще не убедились в том, про что говорят. По серьезным обеспокоенным лицам было видно, что они чем-то встревожены, – как узналось потом, их встревожили недобрые вести, полученные из разоренного Лепсинского уезда, где будто бы положение из ряда вон тяжкое и возможны большие осложнения. Комната заволновалась. В приоткрытую дверь просунулось чье-то простое, доброе лицо и широко расплылось в улыбку, сделавшись от этого еще милей; сочные, красные губы выпятились наружу и образовали пунцовое кольцо, голубые глаза расширились, засветились дружеским, ласковым приветом. Протиснулась через дверь низкая круглая фигурка в кожаной куртке, в кожаных штанах, кожаной фуражке.

Это начальник особого отдела, Кушин.

Сдернув фуражку и всем шутя отвесив поклон, обнажив гриву золотых волнистых мягкошелковых волос, спадавших до самых плеч, заговорил с кем-то и сразу раздвоил, изменил впечатление, – Кушин густо картавил. Казалось, что язык у него все время путался в зубах, задевал и кончиком то и дело упирался то в стенку зубов, то в десну; и напрасно он его старался высвободить, – язык не подчинялся, слова получались гладкие, обсосанные, картавые. Было видно, что Кушина тут любят теплой, дружеской любовью. И было за что: он оказался действительно из ряда вон отличным товарищем в работе и в частных отношениях.

Потом, чуть погодя, вошел еще один: сухощав, жилист, поблескивал черными угольями глаз в черных ресницах под черно-смолевыми бровями. И волосы черные, – казалось, все внутренности должны у него быть, как смола... Не поздоровался – только поклонился. Неразговорчив. В задумчивых, грустных глазах – медлительность, спокойствие, граничащее с упрямством, привычка смотреть себе внутрь, проверять, критиковать, следить – как бы не соскочить с дороги. Отвечал не сразу – иногда думал целую минуту. Это начальник политотдела дивизии Кравчук.

Тотчас за ним, поспешая, минута в минуту в назначенный срок, глянув в дверях на часы, быстрой походкой вошел и сел рядом с Кушиным высокий, поджарый, в коричневой кожаной распахнутой тужурке – там, под нею, виднелась распущенная, неподпоясанная короткая рубашонка, выбившаяся из штанов. Глаза, как у хорька: в глубине блестящие, острые, с желтым отливом, сразу не определимые: жестокость в них или доброта? Это предревтрибунала. Собрались, надо быть, все. Ждать больше некого. Юсупов открывал. Стояло два вопроса: один о земельном переделе, другой о разоренных уездах.

Трудно теперь, через годы, каждому из участников вложить в уста те самые слова, что тогда говорились; даже и мысли трудно вспомнить, только в памяти остались две половинки, на которые раскололось заседание, – это особенно относится к первому вопросу, о земельном переделе. Декретом центра открывалась возможность приступить теперь же к поселению возвращающихся из Китая киргизов на землю. Это означало: теперь, в апреле, когда начинается пахота, сгоняй с захваченных участков земли кулачков и передавай эту землю воротившимся

из невольного изгнания страдальцам, не имеющим не только инвентаря, не только скотины, но и одежды, но и хлеба...

Две половинки ревкома взглянули на дело каждая по-своему, и по-своему каждая была права, и по-своему каждая имела основания спорить до криков, угроз, оскорблений, спорить исступленно...

Они, горемыки, эти идущие сорок – пятьдесят тысяч беженцев-киргизов четыре года выносили страдания в голодных равнинах Китая, оторванные от родины, ограбленные, разоренные царскими жандармами и кулачем, жандармским подсобником... Они потеряли всякую надежду когда-либо вновь увидеть свои горы, свои пастбища, полусожженные, разграбленные пепелища родных кишлаков. Они похоронили свою веру в лучшие времена и примирились с нищенством, которое бичевало их в Китае. С кибитками, полными ребят, без баранов, без кобылиц – они одиноко кочевали из края в край, бездомные, бесприютные изгнанники.

Помирали с голоду, вымирали от болезней, и все их меньше, меньше оставалось, страдальцев...

Подождать десяток годов – и, может быть, некому было бы возвращаться из Китая: на месте кочевий пятидесятитысячного табора мы нашли бы только пустынные кладбища да оглоданные волками кости по всем тропинкам китайских степей.

И подумайте: вдруг к ним, в стан изнуренных, безнадежных, вымирающих, – вдруг к ним примчалась весть удивительная, почти невероятная:

– Киргизы-страдальцы, мученики и жертвы царского произвола, – возвращайтесь в родное Семиречье, к своим кишлакам, к забытым, любимым, тысячу раз оплаканным предгорьям Тянь-шаньских перевалов! Семиречье свободно. Там ждут вас ваши братья. Там все по-новому. И не дадут теперь насильникам чинить над вами произвол, жестокую расправу. Идите на старые гнезда, живите новой, свободной жизнью, разводите артелями новые косяки буйных коней и стада баранов, приучайтесь пахать землю, чтобы оборвать последнюю зависимость от кулака, чтобы самому научиться, самому кормиться, чтобы избежать батрачества, неволи... Идите – там ждут вас, там готова помощь... Скорей же, скорей!

И как только эта чудесная, неожиданная, почти сказочная весть коснулась киргизских кочевий, они рванулись с голодных пустынь на запад, к родным краям... И потянулись тощие, голодные обозы с голодными, полумертвыми людьми, двинулись туда, откуда четыре года назад они в ужасе бежали, засекаемые казацкими нагайками, избиваемые, убиваемые, истязуемые озверелыми палачами.

Они идут через четыре года... Подумайте, что вынесли они за это время! Чего они только не вынесли?! И, проходя окровавленными дорогами, они все еще зорко осматриваются по сторонам: не затаился ли где коварный враг, не поторопились ли они, доверившись летучей вести, не будут ли новые беды, испытания, расправы – не обман ли все это?..

Мы хотим дать им землю. Чтоб землю эту они начали пахать. Мы хотим дать им инвентарь, скотину, поселить их в кишлаках и тех поселках, которые заняты произвольно насильниками... Здесь нужна борьба, – грабители не хотят отдать награбленное, отнятое четыре года назад. Пусть борьба, пусть схватка, но мы должны помочь воротившимся мученикам во что бы то ни стало! Это наш долг. Да, это наш священный долг. Только так – иначе поступить мы не имеем права. Путем настойчивой, упорной борьбы мы должны *теперь* же водворить вернувшихся и *дать им землю*... Так говорили одни – половина ревкома. Они были взволнованы. Они скорбели за судьбу возвращающихся остатков пятидесятитысячной массы. Они страдали сами глубоко и искренне. А другая половина ревкома говорила им:

– Товарищи! Речи не может быть о том, что водворить идущих из Китая – наша первоочередная и священная задача. Речи нет о том, что с захватчиками-кулаками надо повести крутую борьбу и отнять у них то, что награбили они четыре года назад. Это верно. Но одних этих утверждений недостаточно. Вопрос стоит таким образом. Националы, главным образом

киргизы, которых по области семьдесят процентов всего населения, то есть больше миллиона, – пахут они или нет? Нет. И никогда не пахали. И не приспособлены к тому, не умеют, и инвентаря у них нет, – они скотоводы. Этот факт имейте перед собою прежде всего: киргиз – не землепашец, а он все еще только скотовод. Хлеба своего у него нет, он за хлебом идет к землепашцу, к крестьянину, часто к тому самому кулаку, который в шестнадцатом году так жестоко над ним издевался. Это целая большая задача – посадить кочевника на землю, да такая задача, перед которой, быть может, померкнут десятки других, – так она трудна, сложна, даже опасна в иных своих пунктах, если предположить опасную долю принудительности... А вы хотите такую сложную задачу решить единым духом. Да разве это мыслимое дело? Легче организовать восстание, идти в бой, захватить, победить – это легче. А перестроить жизнь, да так вот, единым махом, – это же дело невероятное, это ребяческая затея, обреченная на неудачу. И если это справедливо относительно всего киргизского населения, – в десять, в двадцать раз это справедливее относительно тех десятков тысяч мучеников, что идут теперь из Китая. Уж если оставшиеся здесь, хоть как бы там ни было, но обеспеченные, – если даже они не в состоянии теперь, немедленно, эту же весну взяться за землю, – что остается сказать о беженцах?

...Положение таково: или мы волей-неволей откажемся отнять землю у захватчиков и разрешим этим захватчикам ее обработать, возделывать, собрать хлеб, – тогда вся область по осени будет с хлебом, с хлебом, которым питаться станет и местное население и беженцы... Или мы – ради буквы приказа, совета или чего там хотите – сгоним сейчас же с захваченной земли кулачков, не позволим ее обрабатывать, передадим беженцам, которые, конечно, тоже обработать ее не смогут, и тогда... Тогда осенью мы без хлеба... То есть достаточно его не соберем. Кулак, разумеется, сумеет быть сытым, и про себя он заготовить сумеет. А вот этот самый беженец киргиз – он как раз и будет с осени голодать. Что ему лучше, что выгоднее? Сесть ли теперь же на голую землю, считать ее за собою и право иметь на ее обработку, но не суметь обработать и к осени остаться без хлеба, или отказаться этой весной, – теперь, когда пахота началась, – отказаться от передела, подождать с переделом до осени, а теперь землю оставить захватчикам: пусть обрабатывают, от этого вся область с осени будет жить сытнее... Конечно, надо идти только второю дорогой. Первая приведет к гибели. В этом вопросе теперь надо правде смело посмотреть в глаза. И решить. И не бояться того, что нас назовут кто-то и где-то колонизаторами, предположат, что мы работаем на пользу кулачкам и против интересов киргизской бедноты... Пусть. Это потом узнается. Будет понятно. Не дорожите эффектом минуты, смотрите в корень дела. С точки зрения агитационной, конечно, надо было бы сейчас же землю передать беженцам: это к нам бы многих расположило... но не будем увлекаться эффектом. Другие, более серьезные соображения ведут нас по иному пути. Разместить беженцев, помочь им материально, даже кой-где и в самой пахоте помочь – инвентарем ли, скотиной ли, семенами, опытом своим – это наша срочная задача. Но не будем до осени превращать этого дела в решительное, поголовное, окончательное. Может быть, в январе мы это с вами и сделали бы спокойно и успешно, а в апреле – не будем, в интересах дела не будем, воздержимся и пошлем в Ташкент объяснительную телеграмму...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.